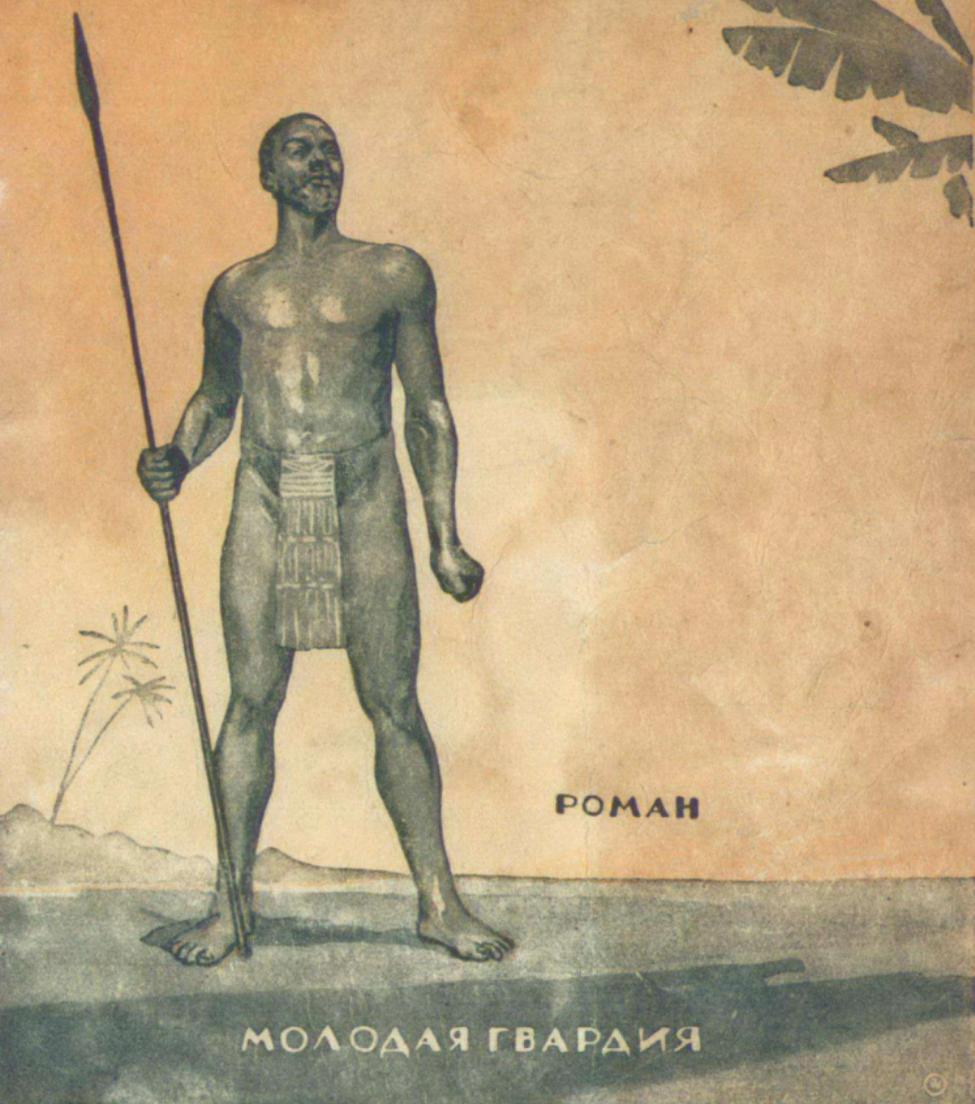


ВИКТОР ГЮГО

БЮГ-ЖАРГАЛЬ



РОМАН

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

©

БИБЛИОТЕКА
ИСТОРИИ
И ПЕДАГОГИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



ЮНОШЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИНОСТРАННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Под редакцией

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

42

ВИКТОР ГЮГО

Г 99

№ 158

БЮГ ЖАРГАЛЬ

РОМАН

Послесловие Ф. РИЗА-ЗАДЕ

Сокращенный перевод с французского
Е. Н. КИСЕЛЕВА

С 13 иллюстрациями в тексте



МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

VICTOR HUGO

BUG JÄRGAL

(1826)

Заставка и концовка—гравюры
на дереве худ. С. Б. Юдовина

47949

1897-60 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИСА

✓



WS

БЮГ ЖАРГАЛЬ



I

Когда наступила очередь капитана Леопольда д'Овернэ, он заявил присутствующим, что не знает в своей жизни ни одного события, о котором стоило бы рассказать.

— Но позвольте, капитан, — сказал ему поручик Анри, — мы слышали, что вы немало путешествовали и видели свет. Ведь, кажется, вы побывали на Антильских островах, в Африке, в Италии и в Испании?.. Ах, капитан, ваша хромая собака...

Д'Овернэ вздрогнул, уронил свою сигару и быстро обернулся к входу в палатку как-раз в ту минуту, когда к нему подбегала огромная хромая собака.

Собака лизала ему ноги, махала хвостом, ласково визжала, прыгала, как могла, а потом улеглась перед ним. Взволнованный, тяжело дыша, капитан машинально гладил ее левой рукой, отстегивая другой рукой ремень своей каски, и повторял отрывисто:

— Это ты, Раск! Ты! — Наконец он вскричал: — Да кто же тебя привел обратно?

— С вашего позволения, я, господин капитан...

Приподняв полу палатки, на пороге стоял уже несколько мгновений сержант Тадэ, обернув шинелью правую руку.

Д'Овернэ поднял на него глаза.

— Тад! Как это ты ухитрился?.. Бедная собака! Я думал, что она в английском лагере. Где же ты ее нашел?

— Дело в том, господин капитан, что с тех пор, как бедный Раск пропал, я заметил, с вашего, так сказать, позволения, что вам чего-то недостает. Откровенно говоря, мне кажется,

что в тот вечер, когда Раск не прибежал, по обыкновению, разделить со мной порцию черного хлеба, старый Тад чуть было не разревелся, как ребенок. Но я плакал только два раза в жизни: первый раз, когда... в тот день, когда... — и сержант посмотрел с тревогой на своего начальника. — А второй раз в тот день, когда этому каналье, капралу Бальтазару, взбрело на ум заставить меня очистить пучок луку.

— Мне кажется, Тадэ, — вскричал, смеясь, Анри, — что вы нам не сказали, когда вы расплакались в первый раз.

— Должно быть, в тот день, старина, как тебя облобызал Ла-Тур-д'Овернь, первый гренадер Франции? — спросил ласково капитан, не переставая гладить собаку.

— Никак нет, господин капитан. Уж если сержант Тадэ расплакался, согласитесь, что это могло случиться только в тот день, когда приказал стрелять в Бюг Жаргаля, иначе называемого Пьерро.

Лицо д'Овернэ омрачилось. Он поспешно подошел к сержанту и хотел пожать ему руку; старый Тадэ продолжал прятать руку под шинелью.

— Да, господин капитан, — продолжал Тадэ, отступая на несколько шагов, тогда как д'Овернэ смотрел на него с грустным выражением, — да, в тот раз я плакал; по правде сказать, он стоил слез! Он был черный, — это так, но и порох тоже черен, а... а...

Доброму сержанту очень хотелось бы с честью выпутаться из своего странного сравнения. Быть может, в этом сближении понятий заключалось что-нибудь такое, что нравилось ему, но все старания высказаться остались напрасными; и вот после нескольких попыток так или иначе взять приступом свою мысль он, подобно полководцу, которому не удается взять крепость, снял внезапно осаду и продолжал, вовсе не замечая улыбок слушавших его молодых офицеров:

— Скажите, господин капитан, помните ли вы этого бедного негра, когда он вбежал, запыхавшись, в ту самую минуту, когда его десять товарищей стояли уже на месте? По правде говоря, их пришлось связать. Командовал я. А тогда он их отвязал сам, чтобы занять их место, несмотря на то, что они не хотели этого. Но он был непреклонен. О, какой

молодец. А еще помните, господин капитан, как он стоял прямо, точно собирался плясать, и как его пес, вот этот самый Раск, поняв, что хотят с ним делать, вцепился мне в горло?..



— Это ты, Раск! Да кто же привел тебя обратно?

— Обыкновенно, Тад, — прервал капитан, — ты никогда не забывал в этом месте своего рассказа приласкать бедного Раска; смотри, как он смотрит на тебя.

— Вы правы, — сказал в смущении Тадэ, — бедняга Раск смотрит на меня; но... дело в том, что старуха Малагрида сказала мне, что ласкать левой рукой — приносит несчастье.

— А почему же не правой? — спросил с удивлением д'Овернэ, впервые заметив теперь и спрятанную под шинелью руку и бледность лица Тадэ.

Смущение сержанта, казалось, еще возросло,

— С вашего позволения, господин капитан, видите ли... У вас уже есть хромая собака, а теперь я боюсь, что у вас заведется и сержант с одной рукой.

Капитан сорвался с места.

— Как? Что? Что ты говоришь, старина? Покажи-ка руку. Однорукий. Боже мой!

Д'Овернэ дрожал; сержант медленно распахнул шинель и показал своему начальнику руку, обмотанную окровавленной тряпкой.

— Ах, боже мой! — прошептал капитан, приподнимая осторожно тряпку. — Но расскажи же мне, старина...

— Дело очень простое. Как я сказал уже вам, я заметил, что вы горюете с тех пор, как проклятые англичане увели вашего славного пса, бедного Раска, собаку Бюга... Ну, да, довольно. Я решил привести его вам обратно, хотя бы ценою своей жизни. Я удрал тайком из лагеря, захватив только саблю, и стал пробираться прямо сквозь изгороди к английскому лагерю, потому что это — самый близкий путь; не успел я еще добраться до первых окопов, как вдруг, с вашего позволения, господин капитан, я увидел влево в небольшой рощице большую толпу красных солдат. Я пошел вперед, чтобы разведать, в чем дело; на меня никто не обращал внимания, а я успел разглядеть Раска, привязанного к дереву, тогда как двое молодцов, оголенных до пояса, точно язычники, изо всех сил тузили друг друга кулаками так, что кости трещали. Вообразите себе, что англичане дрались из-за вашей собаки. Но тут Раск увидел меня и так рванулся вперед, что веревка лопнула и он очутился в один миг подле меня. Я кинулся в лес. Раск за мною. Несколько пуль просвистели у меня над ухом. Я уж миновал чашу и собирался выйти из нее, как вдруг передо мною очутились два красных мундира. Моя собака покончила с одним из них и, конечно, покончила бы и с другим, если бы его пистолет не был заряжен пулей. Взгляните на мою правую руку. Ну, да все равно. Раск кинулся к нему на шею, как к старому знакомцу, и ручаюсь вам, что плотно его обнял — англичанин свалился как сноп, задушенный Раском. Сам виноват: зачем так привязывался ко мне — пристал, точно нищий к семинаристу! Ну, словом, Тад вернулся в лагерь, и Раск тоже. Вот и все.

— Тадэ!.. — крикнул капитан гневно, но сейчас же добавил мягче: — С ума ты, что ли, сошел, что рискуешь жизнью ради собаки?

— Да я не ради собаки, господин капитан, а ради Раска.

Лицо д'Овернэ окончательно смягчилось. Сержант продолжал:

— Ради Раска, ради друга Бюга...

— Довольно, довольно, Тад! — вскричал капитан, закрывая глаза рукой. — Ну, — добавил он после короткого молчания, — обопришь на меня, и пойдем на перевязку.

После некоторого почтительного сопротивления Тадэ повиновался. Собака последовала за ними обоими.

II

Эпизод этот возбудил живейшее любопытство веселых собеседников.

Лишь только капитан д'Овернэ вышел из палатки, завязался следующий разговор.

— Я готов держать пари, — вскричал поручик Анри, вытирая свой красный сапог, на котором виднелось большое грязное пятно, оставленное собакой, — я готов держать пари, что капитан не отдал бы сломанной лапы своей собаки за те десять корзин мадеры, что мы видели на-днях в большой генеральской фуре.

— Тише! Тише! — сказал весело адъютант Паскаль. — Это было бы невыгодно. Корзины уже пусты — это мне доподлинно известно; и, — добавил он серьезно, — согласитесь, поручик, тридцать пустых бутылок, разумеется, не стоят лапы этого пса, тем более, что, в сущности, из этой лапы можно сделать ручку для дверного звонка.

Серьезный тон последних слов адъютанта рассмешил всех. Только Альфред, молодой офицер баскских гусар, не засмеялся; у него был недовольный вид.

— Не вижу, господа, что вы находите смешного в том, что только-что произошло. По-моему, и собака и сержант, которых я всегда видел подле д'Овернэ, должны скорее возбуждать к себе участие. Наконец эта сцена...

Паскаль, задетый за живое недовольством Альфреда и веселостью остальных, перебил его:

— Очень сентиментальная сцена. Скажите пожалуйста! Найденная собака и сломанная рука.

— Капитан Паскаль, вы не правы, — сказал Анри, выбирая из палатки только-что опорожненную им бутылку, — этот Бюг, по прозвищу Пьерро, возбуждает во мне огромное любопытство.

Готовый уже рассердиться, Паскаль утих, заметив, что его стакан еще полон. Д'Овернэ вернулся и сел на прежнее место, не говоря ни слова. Он был еще задумчив, но лицо стало уже спокойнее. Озабоченный чем-то, он не слушал, о чем говорили вокруг него. Раск улегся у его ног, следя за ним тревожным взором.

— Ваш стакан, капитан д'Овернэ. Попробуйте, хорошее вино.

— Слава богу! — сказал капитан, воображая, что отвечает на вопрос Паскаля. — Рана оказалась не опасною, рука не сломана.

Только невольное уважение, которое внушал капитан своим соратникам, сдержало взрыв смеха, уже готовый сорваться с губ Анри.

— Раз вы перестали тревожиться о Тадэ, — сказал он, — и раз мы условились рассказать по очереди какое-нибудь из своих приключений с целью скоротать ночь, я надеюсь, дорогой друг, что вы сдержите свое слово и расскажете нам историю о вашей хромой собаке и Бюге... не знаю дальше имени этого Пьерро, как называл его ваш Тад.

Д'Овернэ не ответил бы ничего на этот полушутливый, полусерьезный вопрос, если бы все остальные не присоединили к нему свои настояния.

В конце концов он уступил их просьбам.

— Так и быть, господа; но не ждите ничего, кроме рассказа об очень простом происшествии, в котором лично я играю совершенно второстепенную роль. Если вы ожидаете чего-нибудь необычайного, то вы ошибаетесь, предупреждаю вас. Я начинаю.

Наступило глубокое молчание. Паскаль выпил залпом свою флягу водки, Анри завернулся от ночного холода в изодранную медвежью шкуру.

Д'Овернэ задумался, припоминая события, давно уже вытесненные из его памяти. Наконец он заговорил медленно, тихим голосом, делая частые паузы.

III

Родился я во Франции, но еще юношей был отправлен в Сан-Доминго к одному моему дяде, очень богатому колонисту, на дочери которого предполагали меня женить.

Постройки жилища дяди были расположены по соседству с фортом Галифе, а его плантации занимали большую часть Акульских равнин.

Это-то несчастное местоположение, подробности о которых, вероятно, кажутся вам мало интересными, и было одной из первых причин бедствий и разорения, постигших мою семью.

Восемьсот негров возделывали огромные поместья моего дяди. Признаюсь вам, что печальное положение этих невольников ухудшалось еще бесчувственностью их господина. Мой дядя принадлежал к числу тех плантаторов, сердце которых очерствело вследствие долголетней привычки к неограниченному деспотизму. Он так привык, чтобы ему повиновались по одному его взгляду, что малейшее колебание со стороны невольника жестоко наказывалось, и зачастую вмешательство его детей только разжигало его гнев. А потому мы чаще всего бывали принуждены ограничиваться оказанием тайной помощи, не будучи в состоянии предотвращать все беды.

Из всех рабов только один снискал милость дяди. То был испанский карлик, отдаленная смесь негра и белой женщины, подаренный дяде лордом Эффингэмом, губернатором Ямайки. Дядя долго прожил в Бразилии, усвоил себе привычку португальской пышности и любил окружать себя дома великолепием, соответствовавшим его богатству. Толпа невольников, выдрессированных как европейская прислуга, придавала его дому блеск настоящего дворца вельможи. В довершение всего он сделал невольника лорда Эффингэма своим шутом, на манер прежних феодалов, державших при себе паяцов.

Нельзя не признаться, что выбор дяди был необыкновенно удачен. Хабибра (таково было его имя) представлял собою одно из тех существ, физическое сложение которых таково, что они казались бы чудовищами, если бы не были так смешны. Этот отвратительный карлик был толст, у него были короткие ноги и большой живот, ходил он с необыкновенной быстротой на своих жидких, худых ногах, которые складывались под ним, когда он садился, точно лапы паука. Его огромная голова, как бы вдавленная между плеч, обросшая торчащими рыжими курчавыми, похожими на шерсть волосами, была украшена ушами такой величины, что товарищи его утверждали, что когда Хабибра плакал, то утирал этими ушами свои слезы. Лицо его вечно гримасничало, но гримасы его постоянно менялись; эта странная подвижность его черт вносила, по крайней мере, некоторое разнообразие в его уродливость. Мой дядя любил его безобразие и невозмутимую веселость. Хабибра был его любимцем. Тогда как остальные невольники изнемогали под бременем тяжкого труда, Хабибра не имел другого дела, как носить за своим господином большой веер из перьев райской птицы, чтобы отгонять им комаров и мух. Ел он всегда у ног дяди на камышевой циновке, и дядя всегда передавал ему на тарелке остатки какого-нибудь особенно любимого им блюда. Зато Хабибра был, видимо, благодарен дяде за его доброту и пользовался своими привилегиями шута, своим правом говорить и делать все, что угодно, только для развлечения своего господина; он потешал его всякими шутками и гримасами, и стоило подать ему знак, как он бежал к дяде с проворством обезьяны и покорностью собаки.

Я не любил этого невольника. В его раболепстве было что-то пресмыкающееся, а ведь если рабство не позорно, то раболепство унижительно. Я чувствовал искреннюю жалость к несчастным неграм, которые целыми днями работали у меня на глазах почти нагими; но этот безобразный шут, этот бездельничающий раб в своей дурацкой одежде, пестревшей галунами и усеянной бубенчиками, внушал мне презрение. К тому же карлик не пользовался тем влиянием, которое он приобрел с помощью своего раболепства перед дядей, для облегчения участи своих братьев.



Отвратительный карлик Хабибра — любимец моего дяди.

Никогда не выпросил он прощения ни для кого из них у своего господина, весьма часто наказывавшего их; наоборот, как-то раз один невольник подслушал, как он внушал дяде быть поосторожнее с его несчастными товарищами. Однако же остальные невольники, которые, казалось, должны бы были остерегаться его и завидовать ему, не выказывали никакой к нему ненависти. Он внушал им какой-то почтительный страх,

нимало не похожий на враждебность; а когда он проходил мимо их хижин в своем большом островерхом колпаке, увешанном колокольчиками и испещренным странными узорами, нарисованными черными чернилами, они испуганно шептались друг другу: „Это колдун!“

Все эти подробности, на которых я теперь останавливаю ваше внимание, очень мало меня в то время занимали. Всецело поглощенный волнениями любви, которой, повидимому, не грозили никакие превратности, любви, разделяемой с детства, я относился рассеяннo ко всему, что не было Марией. С самого раннего детства я привык смотреть, как на свою будущую жену, на ту, которая была мне почти сестрой, и между нами зародилось чувство довольно странного характера: это была какая-то смесь братской преданности, страстной экзальтации и супружеского доверия. Немногим довелось провести более счастливые годы молодости, чем те, которые выпали на мою долю; немногим случалось расцветать душою под более прекрасным небом, при таком чудном сочетании счастья в настоящем с надеждою в будущем.

В августе 1791 года мне должно было исполниться двадцать лет, и дядя назначил на этот день мое бракосочетание с Марией. Вы легко поймете, что мысль о таком близком счастье поглощала меня всецело, а также что у меня осталось лишь самое смутное воспоминание о тех политических спорах которые волновали колонию уже целых два года.

Я видел с радостью, что минута, когда Мария будет моею, приближается, и пребывал в стороне от все возраставшего возбуждения, которое кружило всем вокруг меня головы. Не видя перед собою ничего, кроме своего надвигающегося счастья, я не замечал угрожающей тучи, которая уже закрывала политический горизонт и которой было суждено, разразившись, разбить всем нам жизнь.

Между белыми людьми, невольниками и свободными мулатами существовала уже настолько сильная ненависть, что этот клокочущий вулкан грозил перевернуть всю колонию своим пробуждением. В самом начале этого августа, которого я так пламенно ждал, случился один странный инцидент, внесший непредвиденную тревогу в мои мирные надежды.

IV

На берегу живописной речки, омывавшей плантацию моего дяди, он выстроил небольшой павильон из ветвей, окруженный чащей густых деревьев, куда Мария приходила ежедневно подышать мягким морским воздухом, приносимым легким ветерком, который дует в Сан-Доминго с утра до вечера даже в самые жаркие месяцы года и свежесть которого возрастает и уменьшается одновременно с жарою.

Каждое утро я заботливо украшал этот уголок самыми прекрасными цветами, какие только мог найти.

Однажды Мария выбежала мне навстречу с испуганным лицом. Войдя по обыкновению в свой цветущий уголок, она увидела с удивлением и ужасом, что все цветы, принесенные мною утром, оборваны и растоптаны, а на том месте, где она всегда сидела, лежит букет свежесорванных нарванных ноготков. Не успела она еще оправиться от изумления, как из самой чащи, окружавшей павильон, до нее долетели звуки гитары; вслед за тем какой-то голос, совершенно незнакомый ей, запел песню, повидимому, испанскую, в которой она разобрала только свое собственное имя, часто повторяемое. Тогда она поспешила убежать, и бегству ее, к счастью, никто не помешал.

Этот рассказ вызвал во мне взрыв негодования и ревности. Успокоив бедную Марию, я дал себе слово бдительно оберегать ее до той недалекой уже минуты, когда мне будет дозволено не разлучаться с нею.

Предполагая, что смельчак, чья дерзость так напугала Марию, не ограничится первой попыткой открыть свою тайную любовь, я в тот же вечер, как только в плантации все заснуло, спрятался поблизости от того флигеля, где почивала моя невеста. Я ждал, притаившись среди густых, высоких сахарных тростников. Ожидание мое не было напрасно. Посреди ночи мое внимание было внезапно привлечено грустной, величественной прелюдией, прозвучавшей в нескольких шагах от меня. Я так и вздрогнул: то был звук гитары, и прямо под окном Марии. Вне себя, размахивая



кинжалом, я бросился туда, откуда шли эти звуки, ломая по пути хрупкие стебли сахарного тростника. Вдруг меня кто-то схватил и бросил оземь с силой, показавшейся мне исполинской; из рук моих выхватили кинжал, который засверкал над моей же головой. Совсем близко вспыхнули надо мною в темноте два огненных глаза, и сквозь два ряда белевших во мраке зубов вылетели по-испански слова, выражавшие торжествующее бешество: „Попался, попался!“

Скорее удивленный, чем испуганный, я тщетно отбивался от моего грозного противника, и уже острие кинжала вонзилось в мою одежду, когда Мария, разбуженная гитарой и шумом, внезапно показалась в окне. Она узнала мой голос, разглядела блеск кинжала, и у нее вырвался крик ужаса и отчаяния. Этот раздирающий крик точно парализовал руку одолевшего меня противника; он остановился, словно околдованный, провел нерешительно еще несколько раз кинжалом по моей груди, но потом вдруг швырнул его прочь и сказал, на этот раз по-французски: „Нет, нет! Она пролила бы слишком много слез!“ Произнеся эти странные слова, он бросился в тростники и, прежде чем я успел подняться на ноги, измученный этой неравной и страшной борьбой, он бесследно исчез.

Затрудняюсь передать свое душевное состояние в ту минуту, когда я оправился от столбняка в объятиях кроткой Марии, так непонятно пощаженный тем самым, который, казалось, намеревался оспаривать ее у меня. Более чем когда-либо негодовал я на этого неожиданного соперника, и мне было стыдно, что я ему обязан жизнью. В сущности, подсказывало мне мое самолюбие, я обязан ею Марии, раз кинжал упал от одного звука ее голоса. Однакоже я не мог не сознаться, что чувство, которое заставило моего неведомого соперника пощадить меня, было не лишено великодушия. Но кто же был этот соперник? Я переходил от подозрения к подозрению, при чем одно противоречило другому. Человек, с которым я боролся, показался мне обнаженным до пояса. Одни лишь невольники так одевались в колонии. Но мне казалось — то не мог быть невольник; я не считал возможным встретить у невольника чувство великодушия, заставившее его отбросить кинжал; кроме того, все во мне

возмущалось от одного предположения о возможности соперничества с рабом. Кто же это был?

Я решил выждать и наблюдать.

V

Мария разбудила свою старую мамку, заменявшую ей мать, которая умерла, когда Мария была еще грудным ребенком. Я провел остальную часть ночи подле нее, и, как только настало утро, мы сообщили дяде о необъяснимых событиях. Он крайне удивился, но в своей гордости, подобно мне, не мог допустить и мысли, что неизвестный обожатель его дочери мог быть невольником. Мамке было приказано не отходить больше от Марии ни на шаг; а так как беспокойство, причиняемое колонистам все более угрожающим положением колониальных дел, и работы на плантациях совсем не оставляли дяде свободного времени, то он разрешил мне сопровождать его дочь во всех ее прогулках до самого дня нашей свадьбы, назначенной на 22 августа. Кроме того, предполагая, что новый поклонник его дочери был человек со стороны, он отдал приказание строже, чем когда-либо, охранять днем и ночью границы его владений.

Приняв меры предосторожности сообща с дядей, я вздумал произвести опыт. Я прошел к павильону у реки, привел все в порядок и вновь украсил его цветами, как делал всегда для Марии.

Когда наступил час и она отправилась туда, я взял карабин, заряженный пулей, и предложил кухне проводить ее до павильона. Старая мамка последовала за нами.

Мария, которой я не сказал, что уничтожил все следы разрушения, так напугавшие ее накануне, вошла первой в зеленую беседку.

— Видишь, Леопольд, — сказала она мне, — моя беседка в том же беспорядке, в каком я оставила ее вчера; видишь, твоя работа уничтожена, твои цветы оборваны, измяты. Меня удивляет, — добавила она, беря букет ноготков, лежавший на дерновой скамейке, — меня удивляет, что этот гадкий букет

все еще не завял со вчерашнего дня. Взгляни, милый друг, его точно только-что нарвали.

Я так и окаменел от удивления и гнева. Действительно, вся моя утренняя работа была уничтожена, печальные цветы, свежесть которых изумляла мою бедную Марию, вновь дерзко заняли место моих роз.

— Успокойся, — сказала Мария, видя мое волнение, — успокойся; это — дело прошлое, и дерзкий, конечно, больше не покажется; отбросим воспоминание о нем, как этот противный букет.

Я не стал ее разубеждать из опасения встревожить и, не говоря ей, что тот, кто по ее мнению не должен был более показываться, уже вновь побывал здесь, я предоставил ей растоптать ногти в порыве невинного негодования. Затем, надеясь, что теперь я узнаю наконец, кто же мой таинственный соперник, я усадил ее между мамкой и собою.

Едва мы уселись, как Мария, чтобы не дать мне говорить приложила свой пальчик к моим губам: до ее уха донеслись какие-то звуки, заглушенные ветром и плеском воды. Я прислушался: это была та же самая грустная и медлительная прелюдия, которая взбесила меня предыдущей ночью. Я хотел вскочить со скамьи; Мария удержала меня жестом.

— Леопольд, — сказала она мне шопотом, — сдержи себя; может быть, он запоет, и, вероятно, слова его откроют нам, кто он.

И действительно, через минуту из глубины леса донесся голос, звук которого был и мужествен и жалобен; голос этот, сливаясь с низкими нотами гитары, пел испанский романс, каждое слово которого так глубоко проникало в меня, что в моей памяти до сих пор сохранились почти все выражения.

«Почему бежишь ты от меня, Мария? Почему бежишь ты от меня, девица? Откуда этот страх, едва ты услышишь мой голос? Правда, я страшен! Я умею любить, страдать и петь.

Когда я вижу сквозь стройные стволы кокосовых прибрежных пальм твой легкий и чистый облик, глаза мои

затуманиваются, о, Мария, и мне чудится, что передо мною проходит дух.

А когда я слышу, о, Мария, чудные звуки, исходящие из твоих уст, точно мелодия, мне кажется, что мое сердце бьется в самом мозгу и что его жалобный трепет сливается с твоим гармоничным голосом.

Увы! Твой голос для меня слаще пения птиц, реющих в небе и прилетевших из того края, где находится моя отчизна.

Моя отчизна, где я был царем, моя отчизна, где я был свободен.

Я был свободен, я был царем, о, девица! Но для тебя я готов забыть все это, забыть все: царство, семью, дом, месть—да, даже самую месть!— хотя близка минута, когда можно будет сорвать этот горький и чудный плод, который так поздно созрел¹.

Эти строфы голос пропел с частыми тяжелыми паузами, но при последних словах он сделался грозным.

„О, Мария! Ты подобна прекрасной пальме, стройно колеблющейся, и ты смотришься в глаза своего молодого возлюбленного подобно тому, как пальма смотрится в прозрачную воду ручья.

Но разве ты не знаешь? — Порой в глубине пустыни таится ураган, завидующий счастью любимого ручья; он мчится, и под взмахом его тяжелых крыльев песок сливается с воздухом; он окутывает дерево и ключ вихрем пламени; и ручей высыхает, и на пальме, под мертвящим дыханием свертываются зеленые листья, окружавшие ее венцом, величественным как корона и прелестным как волосы.

Трепещи, о, белая дочь Испаньолы!¹ Трепещи, как бы все вокруг тебя не превратилось скоро в ураган и пустыню. Тогда ты пожалеешь, что не вняла голосу любви, который мог привести тебя ко мне!

Почему ты отвергаешь мою любовь, Мария? Ты белая, а я черный; но разве день не сливается с ночью, чтобы породить зарю и закат, которые прекраснее его самого“.

¹ Так Христофор Колумб назвал впервые Сан-Доминго в эпоху своего открытия Америки, в декабре 1492 г.

VI

Последние слова сопровождалась продолжительным вздохом и тягучей нотой трепетных струн гитары. Я был вне себя: „Черный! Невольник!“ Тысяча бессвязных мыслей, пробужденных необъяснимой песней, только-что мною услышанной, кружились в моем мозгу. Мною овладело страстное желание покончить с незнакомцем, осмелившимся пришеивать имя Марии к песням любви и угроз. Я судорожно сжал в руках свой карабин и выбежал из павильона. Испуганная Мария протягивала еще руки, чтобы удержать меня, но я уже был в глубине чащи, откуда слышался голос. Я обшарил лес повсюду, я обошел вокруг всех толстых деревьев, перебрал все высокие травы, но не нашел ничего, ровно ничего! Бесплезные поиски в связи с бесполезными размышлениями о только-что слышанном романсе внесли в мой гнев некоторую долю стыда. Неужели дерзкий соперник останется для меня и недостижимым и непостижимым! Неужели мне его не открыть и не встретить? В эту минуту меня вывел из задумчивости звон бубенчиков. Я обернулся. Подле меня стоял карлик Хабибра.

— Здравствуйте, господин, — сказал он, почтительно кланяясь, но самый взгляд, которым он смотрел на меня искоса, с каким-то неопределенным выражением хитрости и торжества, словно подчеркивал мое смятение.

— Отвечай, — вскричал я внезапно, — не видал ли ты кого-нибудь в этом лесу?

— Никого, кроме вас, мой сеньор, — отвечал он спокойно.

— А не слышал ли ты голоса? — снова спросил я.

Невольник помолчал с минуту, как бы спрашивая себя, что ему отвечать. Я кипел негодованием.

— Скорей, — сказал я, — отвечай скорее, несчастный, не слышал ли ты здесь голоса?

Он взглянул мне смело в глаза своими круглыми, как у хищного ястреба, глазами.

— О каком голосе говорите вы, господин? Голоса есть всюду и во всем: есть голос птиц, есть голос воды, есть голос ветра и листьев...

Я прервал его, сильно встряхнув его за плечо.

— Низкий шут! Перестань издеваться надо мной, а не то ты увидишь вблизи дуло моего карабина. Отвечай в нескольких словах. Не слышал ли ты в лесу мужского голоса, певшего испанскую мелодию?

— Да, сеньор, — отвечал он мне, нимало не взволнованный, — и слова на эту мелодию слышал... Послушайте, я расскажу вам, как было дело. Я гулял по опушке этой рощи, прислушиваясь к тому, о чем звенели мне на ухо серебряные бубенчики моего колпака. Вдруг ветер донес до меня несколько слов на языке, который вы называете испанским — первый язык, на котором я лепетал, когда мой возраст определялся месяцами, а не годами, и когда моя мать подвешивала меня к себе на спину тесемками из красной и желтой шерсти. Я люблю этот язык, он напоминает мне то время, когда я был еще только ребенком, а не карликом; я пошел в сторону голоса и слышал конец песни.

— Ну, что же, разве это все? — спросил я нетерпеливо.

— Да, господин, но если вам угодно, то я скажу вам, кто пел там в лесу.

Я чуть не расцеловал бедного шута.

— О, говори, — вскричал я, — говори, вот мой кошелек, Хабибра! И я дам тебе десяток других кошельков, лучше этого, если ты мне скажешь, кто этот человек.

Он взял кошелек, открыл его и улыбнулся.

— Десять кошельков лучше этого, господин. Помните, сеньор, последние слова песни: „Ты белая, а я черный; но и дню приходится вступить в союз с ночью для того, чтобы породить зарю и закат, которые прекраснее его самого“. Так вот, если эта песня говорит правду, то Хабибра, ваш смиренный раб, родившийся от негритянки и белого, красивее вас. Я — плод союза дня и ночи, я — та заря или тот закат, о котором говорится в испанской песне. Значит, я прекраснее вас.

Карлик перемешал эти странные речи с раскатом смеха. Я опять прервал его:

— К чему эти нелепости? Что ты хочешь сказать? Объяснишь ли ты мне, кто пел в роще?

— Вот именно, сеньор, — возразил шут с насмешливым взглядом, — Очевидно, человек, певший такие, по вашему

выражению, нелепые вещи, не может быть ничем иным, как таким же шутком, как я! Я заслужил свои десять кошельков!

Я поднял уже руку, чтобы наказать за дерзкую шутку Хабибру, как вдруг в роще раздался страшный крик со стороны реки, где находился павильон. Это был голос Марии. Я пустился бежать, я летел вперед, с ужасом спрашивая себя, какое новое несчастье могло грозить мне. Едва переводя дыхание, я добежал до зеленой беседки. Там меня ожидало страшное зрелище. Чудовищный крокодил, тело которого было наполовину скрыто прибрежными тростниками, просунул свою огромную голову в одну из зеленых арок, подпиравших крышу павильона. Его отвратительная полуоткрытая пасть угрожала молодому негру колоссального роста, поддерживавшему одной рукой обезумевшую от ужаса девушку и смело вонзавшему другой рукой железный топор в острые челюсти крокодила. Крокодил бешено отбивался от этой смелой и могучей руки, сдерживавшей его натиск. Когда я показался у порога беседки, Мария радостно вскрикнула, вырвалась из рук негра и упала в мои объятия, восклицая:

— Я спасена!

При этом крике негр стремительно обернулся, скрестил руки на своей вздымавшейся груди и, вперив в мою невесту взор, замер неподвижно, точно не замечая, что крокодил тут, подле него, и готов уж пожрать его. И храбрый негр непременно погиб бы, если бы я, опустив Марию на руки ее кормилицы, застывшей в ужасе на скамье, не подошел к чудовищу и не всадил ему в упор прямо в пасть весь заряд своего карабина. Зверь открыл и закрыл еще два или три раза свою окровавленную глотку и потухшие глаза, но это уже была агония, затем он опрокинулся с шумом навзничь, вытянув свои огромные чешуйчатые лапы. Он был мертв.

Негр, которого я так удачно спас, повернул голову и увидел последние судороги чудовища; он потупил тогда глаза в землю, потом посмотрел на Марию, снова прижавшуюся к моей груди, и сказал по-испански голосом, в котором звучало большое отчаяние:

— Зачем ты убил его?

И, не ожидая моего ответа, он исчез, углубившись в рощу.

VII

В голове моей царил хаос от этой страшной сцены, этой странной развязки и всех разнообразных волнений, пред-



Чудовищный крокодил просунул свою голову в одну из зеленых арок.

шествовавших, сопровождавших и последовавших за моими поисками в лесу. Мария не оправилась еще от страха, и прошло довольно много времени, прежде чем мы были

в состоянии обменяться своими бессвязными мыслями иначе, чем посредством взглядов и пожатий рук. Наконец я нарушил молчание.

— Уйдем отсюда, Мария, — сказал я. — В этом месте есть что-то губительное!

Она поспешно встала, точно только и ждала моего решения, оперлась о мою руку, и мы вышли.

Тогда я спросил ее, откуда явилась чудесная помощь в лице этого негра в минуту, как она подвергалась страшной опасности, и знает ли она, кто этот невольник, потому что грубые штаны, едва прикрывающие его наготу, ясно показывали, что он принадлежит к низшему классу островитян.

— Это, вероятно, один из невольников моего отца, — сказала мне Мария. — Он работал поблизости в ту минуту, когда появление крокодила вырвало у меня тот крик, который известил тебя, что я в опасности. Негр выбежал ко мне на помощь из леса в самую критическую минуту.

— С какой стороны он явился? — спросил я.

— Ты побежал в ту сторону, откуда мы слышали голос, а он явился с противоположной стороны.

Эта подробность отклонила то невольное сопоставление, которое возникало в моем уме — сопоставление между фразой, сказанной мне по-испански уходящим негром, и романсом, пропетым на том же языке моим неведомым соперником. Я делал уже и другие сопоставления. Этот негр, почти гигантского роста и необыкновенной силы, мог быть вполне тем могучим противником, с которым я боролся предыдущей ночью.

То, что он был обнаженным, служило, впрочем, поразительной приметой. Лесной человек сказал: „Я негр“. Еще одно сходство: тот объявлял себя царем, а этот был только невольником, но я мысленно не без удивления припоминал выражение суровости и величия на его лице рядом с характерными чертами африканской расы — блеском его глаз, белизной его зубов — высотой его лба, презрительную мину, придававшую его толстым губам и ноздрям что-то гордое и могучее, благородство его осанки, красоту его мощных

членов, несмотря на их худобу, на унижительный и изнуряющий ежедневный труд, вызывая в уме весь этот величественный облик этого невольника. Я находил эту пышность царственной.

Я подобрал массу других подробностей, и подозрения мои останавливались с гневным трепетом на этом дерзком негре; я хотел уже разыскать и наказать его. Но потом я опять поколебался. В сущности, где было основание для всех этих подозрений? Так как остров Сан-Доминго на значительном пространстве принадлежал Испании, то многие негры, или первоначально принадлежавшие здешним колонистам, или родившиеся здесь, примешивали к своему наречию испанский язык. И разве только потому, что этот невольник сказал мне несколько испанских слов, следовало считать его автором испанского ромansa, несомненно, свидетельствовавшего о такой степени умственной культуры, которая, по-моему, была совершенно неведома неграм? Что же касалось его странного упрека за то, что я убил крокодила, то это просто доказывало присущее этому невольнику отвращение к жизни, объяснимое его положением, и для этого, конечно, незачем было прибегать к невероятной гипотезе любви негра к дочери его господина. Его присутствие в роще около беседки могло быть вполне случайным; его силы и роста было еще далеко не достаточно для того, чтобы установить тождественность его личности с моим действительным соперником.

Мог ли я, опираясь на столь шаткие доказательства, обвинить так тяжко перед моим дядей бедного невольника, храбро спасшего Марию, и предать его неумолимой мести гордого дяди.

В ту самую минуту, как мой гнев боролся с этими мыслями, Мария окончательно успокоила меня, сказав громко:

— Леопольд, мы должны быть благодарны этому бедному негру; не будь его, я погибла бы. Ты бы опоздал.

Эти слова произвели на меня решительное действие. Мое намерение разыскать невольника, спасшего Марию, от этого не изменилось, но изменилась цель моих поисков. Сначала я его хотел наказать, а теперь я намерен был вознаградить его.

Я передал дяде, что он обязан спасением жизни своей дочери одному из своих невольников, и он обещал отпустить его на свободу, если мне удастся найти его в толпе несчастных.

VIII

До того дня я держался всегда вдали от плантаций, где работали негры. Мне было тяжело смотреть на страдания людей, которым я не мог ничем помочь. Но когда на следующий день дядя предложил мне обойти вместе с ним работы, я поспешил принять его предложение, надеясь отыскать среди рабочих спасителя моей Марии.

Во время этой прогулки я мог убедиться, какую власть имеет взгляд господина над невольниками, но также и в том, как дорого покупается подобная власть. Негры, дрожа в присутствии дяди, удваивали, когда он проходил мимо, свои старания и свое рвение; но сколько ненависти было в этом страхе!

X Вспыльчивый по привычке, дядя готов уже был рассердиться из-за того, что придрасться было не к чему, как вдруг его шут Хабибра, всюду следовавший за ним, указал ему на какого-то негра, заснувшего от усталости под группой финиковых деревьев. Дядя подбежал к несчастному, грубо разбудил его и приказал вновь приняться за работу. Испуганный негр вскочил, обнаружив молодой кустик бенгальских роз, на который он нечаянно лег и который дядя выращивал с особенной любовью. Кустик был измят. Уже взбешенный тем, что он считал ленью со стороны невольника, дядя пришел при виде измятого куста в окончательную ярость.

Вне себя, он снял с пояса кнут из ремней с железными наконечниками, который всегда носил с собою, и поднял уже руку, собираясь ударить негра, упавшего на колени. Но поднятый кнут не опустился. Я никогда не забуду этой минуты. Могучая рука остановила руку колониста, и другой негр (тот самый, которого я искал) крикнул ему по-французски:

— Накажи меня, оскорбившего тебя сейчас; но не трогай моего брата, прикоснувшегося только к твоему розовому кусту.

Это неожиданное вмешательство человека, которому я был обязан спасением Марии, его жест, его взор, повелительный тон его голоса повергли меня в оцепенение. Но его великодушный поступок не только не заставил дядю покраснеть, а, напротив, удвоил его ярость, обратив ее с негра, измявшего розовый куст, на его защитника. Совершенно не помня себя, дядя осыпал угрозами высокого негра, и поднял вновь свой кнут, чтобы ударить его. На этот раз кнут был вырван у него из рук. Негр, точно соломинку, сломал кнутовище, усеянное гвоздями, и растоптал ногами это гнусное орудие мести. Я застыл на месте от удивления, а дядя от бешенства; подобное оскорбление его власти было для него чем-то неслыханным. Глаза его, казалось, были готовы выскочить из орбит, посиневшие губы дрожали. Невольник посмотрел на него с минуту со спокойным видом и вдруг, подавая ему с достоинством свой топор, сказал:

— Уж если ты хочешь меня ударить, белый, то возьми, по крайней мере, топор.

Дядя был в таком бешенстве, что, конечно, исполнил бы его желание и уже был готов схватить топор, как в дело вмешался я. Быстро отняв топор, я швырнул его в соседний колодец.

— Что ты делаешь! — сказал мне запальчиво дядя.

— Я избавляю вас, — ответил я, — от несчастья ударить спасителя вашей дочери. Вы обязаны жизнью Марии этому невольнику; это тот самый негр, которому вы передо мной обещали дать свободу.

— Ему-то свободу! — возразил он мрачно. — Да, он заслуживает того, чтобы его рабству пришел конец. Ему свободу! Посмотрим, какую свободу подарят ему судьи военного суда.

Мольбы Марии и мои остались тщетными. Негр, небрежность которого была первой причиной этой сцены, был наказан палками, а его защитник брошен в тюрьму форта Галифе, как виновный в том, что поднял руку на белого. А для невольника это было уголовным преступлением.

IX

Вы можете себе представить, господа, до какой степени все эти обстоятельства должны были пробудить во мне участие и любопытство. Я стал собирать сведения о заключенном и узнал много странного, особенного. Мне рассказали, что товарищи этого молодого негра относились к нему с самым глубоким уважением. Хотя он был таким же невольником, как и они, все повиновались ему по первому его знаку. Он родился не в невольничьем поселке, никто не мог указать, кто его отец и мать; говорили даже, что на берег Сан-Доминго его высадило какое-то негроторговое судно всего несколько лет тому назад. Это обстоятельство делало еще более замечательной власть, которую он имел над всеми своими товарищами.

Этот негр, охваченный какой-то тайной мрачной грустью, отличался необычайной силой и удивительной ловкостью. Случалось, что он исполнял за один день работу десятерых товарищей, чтобы спасти их от наказания за небрежность и лень. А потому невольники его боготворили; благоговение, с которым они относились к нему, совершенно отличное от суеверного страха по отношению к Хабибре, тоже, повидимому, имело какое-то тайное основание; это было нечто в роде культа.

Странно было также, как говорили мне, что он был настолько же мягок и прост с равными себе, считавшими честью повиноваться ему, насколько он был горд и высокомерен со своими надзирателями. По правде говоря, эти привилегированные рабы, представлявшие собою как бы промежуточные звенья, связывавшие цепь рабства с цепью деспотизма, присоединяли к низости своего положения дерзость своей власти и с каким-то особенным удовольствием обременяли его трудом и преследовали дурным обращением. Тем не менее и они как-то невольно уважали в нем чувство гордости, которое заставило его оскорбить дядю. Никогда ни один из них не посмел подвергнуть его какому-либо унижительному наказанию. Если же им случалось приговорить его к такому наказанию, то десятка два негров

сами вызывались стать на его место, и он присутствовал при их экзекуции, не шевелясь, точно они только исполняли таким образом свой долг. Странный человек этот был известен во всех хижинах под именем Пьерро.

X

Все эти подробности воспламенили мое молодое воображение. Мария, полная благодарности и жалости, поддерживала мой энтузиазм, и Пьерро до того овладел нашими думами, что я решил повидаться с ним и помочь ему. Теперь я обдумывал средства поговорить с ним.

Несмотря на мою молодость, я был уже, в качестве племянника одного из самых богатых колонистов Капа, капитаном местного ополчения. Форт Галифе находился под охраной ополчения, а также под охраной желтых драгун, начальник которых, обыкновенно унтер-офицер, командовал фортом. Случилось так, что в ту пору командиром был брат одного бедного колониста, которому мне посчастливилось оказать большие услуги и который был всецело предан мне...

Здесь слушатели прервали д'Овернэ восклицанием: „Тадэ“.

— Вы угадали, господа, — продолжал капитан. — Вы понимаете, что мне было нетрудно получить его согласие на посещение в темнице негра. Как капитан ополченцев, я имел право бывать в форте. Тем не менее, не желая внушать подозрений дяде, гнев которого еще не остыл, я отправился туда только в час послеобеденного отдыха. Все солдаты спали, кроме караульных. Тадэ привел меня к тюремной двери, открыл ее и удалился. Я вошел.

Негр сидел, потому что низкий потолок не позволял ему выпрямиться во весь рост. Он был не один: при моем входе с пола поднялся огромный дог и, рыча, направился ко мне. „Раск!“ — крикнул негр. Молодой дог смолк и снова улегся у ног своего господина, доедая остатки какой-то жалкой пищи.

Я был в мундире; слуховое окно, освещавшее эту тесную темницу, давало такой слабый свет, что Пьерро не мог рассмотреть меня.

— Я готов, — сказал он мне спокойным тоном, наполовину приподнявшись.

— Я думал, — сказал я, удивленный свободой его движений, — я думал, что вы в оковах.

Мой голос дрожал. Узник, казалось, не узнал его. Он толкнул ногой железные обломки, которые зазвенели.

— Вот мои оковы, я разорвал их.

В тоне его последних слов звучало что-то неуловимое, как бы говорившее: „Я не рожден для цепей“. Я заговорил снова:

— Мне не сказали, что к вам пустили собаку.

— Я ее сам впустил.

Удивление мое всё возрастало. Дверь тюрьмы была заперта извне тройным засовом. Слуховое окно было всего в шесть дюймов шириною и снабжено двумя железными перекладинами. Очевидно, он понял, о чем я думаю, выпрямился, насколько позволял это слишком низкий свод тюрьмы, вынул без усилий огромный камень из слухового окошка, снял обе перекладины, и таким образом получилось отверстие, в которое легко могли пролезть два человека. Отверстие это выходило прямо в банановую и кокосую рощу, покрывавшую гору, к которой примыкал форт.

Я просто онемел от удивления; вдруг на мое лицо упал луч света: узник выпрямился, точно наступил нечаянно на змею, и стукнулся лбом о каменный свод. В глазах его быстро промелькнуло неуловимое сочетание тысячи противоположных чувств — странное выражение ненависти, доброжелательства и скорбного удивления. Но он сейчас же овладел собою, в одно мгновение лицо его приняло холодное, спокойное выражение, и он остановил на мне равнодушный взгляд. Теперь он глядел мне прямо в лицо, точно на незнакомца.

— Я могу прожить еще два дня без пищи, — сказал он.

У меня вырвался жест ужаса, и в эту минуту мне бросилась в глаза худоба бедняги. Он добавил:

— Собака моя ест только из моих рук; если бы я не мог расширить окошко, бедный Раск умер бы с голоду. Пусть лучше умру я, чем он, так как я все равно должен умереть.

— Нет, — вскричал я, — нет, вы не умрете с голоду.

Он меня не понял.

— Разумеется, — заговорил он, горько улыбаясь, — я мог бы прожить без пищи еще два дня; но я готов, господин офицер: сегодня лучше, чем завтра; не делайте только зла Раску.

Тогда я почувствовал, что значили его слова: „Я готов“. Обвиненный в преступлении, наказуемом смертью, он думал, что я пришел за ним, чтобы вести его на казнь; и человек этот, одаренный колоссальной силой, имевший под рукой все средства к бегству, спокойно и кротко повторял стоявшему перед ним юноше: „Я готов“.

— Только не делайте зла Раску, — повторил он снова.

Я не выдержал.

— Как, — сказал я, — вы не только принимаете меня за своего палача, но сомневаетесь даже в моем человеческом отношении к этой бедной, ни в чем неповинной собаке?

Он растрогался и сказал изменившимся голосом, протягивая мне руку:

— Прости меня, белый, я люблю свою собаку; а твои сородичи, — добавил он после короткого молчания, — сделали мне много зла.

Я обнял его, пожал ему руку.

— Разве вы меня не узнали? — спросил я.

— Я знал, что ты белый, а ведь для белых, как бы они ни были добры, всякий негр — ничтожество. Впрочем, я имею кое-что и против тебя.

— Но что же? — спросил я удивленный.

— Не спас ли ты мне два раза жизнь?

Это странное обвинение заставило меня улыбнуться. Он заметил это и продолжал с горечью.

— Да, я должен бы сердиться на тебя за это. Ты спас меня раз от крокодила, другой раз от колониста и, что еще хуже, ты отнял у меня право ненавидеть тебя. Как я несчастен!

Странность его речей и его образа мыслей почти уже меня не удивляла. Она вполне гармонировала с его личностью.

— Я обязан вам более, чем вы мне, — сказал я. Я обязан вам жизнью моей невесты Марии.

Он вздрогнул, точно пронзенный электрическим током.

— Мария, — сказал он глухим голосом, и голова его упала на судорожно стиснутые руки, тогда как широкая грудь его вздымалась от тяжких вздохов.

Признаюсь, что заснувшие было во мне подозрения пробудились вновь, но без гнева и ревности. Я был слишком близок к счастью, а он слишком близок к смерти, для того чтобы подобный соперник, если он был им, мог возбудить во мне иные чувства, кроме доброжелательства и жалости.

Наконец он поднял голову и сказал.

— Не благодари меня, — и добавил после паузы: — А ведь по своему званию я не ниже тебя.

Слова эти зажгли мое любопытство, и я стал настоятельно просить его рассказать мне, кто он и что выстрадал. Но он замкнулся в мрачное молчание.

Однако попытка моя его тронула; мои предложения услуг и просьбы победили, повидимому, его отвращение к жизни. Он вылез в окно и принес несколько бананов и огромный кокосовый орех. Затем он вновь заделал отверстие и стал есть. Разговаривая с ним, я убедился, что он свободно говорит по-французски и по-испански и не лишен некоторого умственного развития: он знал несколько испанских романсов и пел их с выражением. Человек этот был до того необъясним во многих отношениях, что с этой минуты чистота его речи меня не поражала. Я снова попытался узнать причину всего этого, но он не отвечал. Наконец я оставил его, поручив его заботливости и вниманию моего верного Тадэ.

XI

Я стал видеться с ним ежедневно в тот же самый час. Меня тревожило его положение, потому что, не смотря на мои мольбы, дядя упорно требовал суда над ним. Я не скрывал своих опасений от Пьерро, который выслушивал меня равнодушно.

Часто во время моих посещений являлся Раск с большим пальмовым листом на шее. Негр отвязывал лист, читал начертанные на нем на неизвестном мне языке слова, а потом разрывал на куски. Я привык не расспрашивать его.

Раз, когда я вошел к нему, он не обратил на меня внимания. Сидя спиной к двери, он пел меланхолическим тоном испанскую песню: „Я — контрабандист...“ Кончив песню, он быстро обернулся и крикнул мне:

— Брат, обещаю тебе, что если ты когда-либо усомнишься во мне, то отбросишь все сомнения, как только я запою эту песню.

Взгляд его был полон величия. Я обещал исполнить его желание, не зная хорошенько, что он подразумевал под этими словами: „Если ты когда-либо усомнишься во мне...“ Он взял скорлупу ореха, сорванного им в день моего первого посещения, наполнил ее кокосовым вином, предложил мне хлебнуть из нее, а затем выпил залпом все вино. С этого дня он не стал звать меня иначе, как братом.

Между тем я начинал питать кое-какие надежды. Дядя гневался теперь меньше: приближавшиеся празднества по поводу моего брака с Марией отвлекали его мысли в более приятную сторону. Мария умоляла его тоже. Я повторял ему каждый день, что Пьерро не думал оскорблять его, а хотел только помешать ему проявить излишнюю, может быть, строгость; что негр этот спас Марию от верной смерти, так смело бросившись на крокодила; что ему он обязан жизнью дочери, я — жизнью невесты; что к тому же Пьерро был самый сильный из его невольников (теперь я уже не мечтал добиться его свободы, а хотел только спасти его жизнь); что он работал один за десятерых и приводил одной рукой в движение валы сахарной мельницы. Он выслушивал меня и порой намекал, что, может быть, он прекратит это дело. Я не говорил ничего негру об этом, желая объявить ему о полной свободе, когда мне удастся добиться ее. Меня удивляло, что, считая себя приговоренным к смерти, он не пользовался имевшимися у него средствами к побегу. Когда я высказывал ему это, он холодно отвечал:

— Я должен остаться; а то еще подумают, что я струсил.

XII

Однажды утром Мария подошла ко мне, вся сияющая.
— Послушай, — сказала она, — через три дня будет 22 августа, день нашей свадьбы. Скоро мы...

Я прервал ее:

— Не говори, что скоро, Мария, когда осталось еще три дня.

Она улыбнулась и покраснела.

— Не сбивай меня, Леопольд, — снова заговорила она, — мне пришла в голову мысль, которая будет тебе приятна. Ты знаешь, что я ездила вчера в город с отцом покупать разные драгоценности к свадьбе. Не думай, что я дорожу всеми этими вещами и брильянтами, от которых я не сделаюсь красивее в твоих глазах. Я отдала бы все жемчуга мира за один из тех цветов, что испортил мне тот гадкий человек; но дело не в этом. Отец непременно хочет задарить меня всякой всячиной, и я притворяюсь, что мне всего этого хочется, чтобы сделать ему удовольствие. Вчера я видела платье из китайского, затканного большими цветами атласа, лежавшее в ящике из душистого дерева, и залюбовалась им. Очень дорогая вещь, но зато такая необыкновенная. Отец заметил, что платье это привлекло мое внимание. Вернувшись домой, я попросила его дать обещание сделать мне подарок. Он поклялся мне честью, что подарит мне все, чего бы я у него ни попросила. Он думает, что я попрошу платье из китайского атласа, но вовсе нет, я попрошу у него жизнь Пьерро. Это будет моим свадебным подарком.

Слово дяди было священно, и когда Мария пошла к нему, чтобы заявить о своем желании, я побежал в форт Галифе сказать Пьерро о том, что теперь он наверное спасен.

— Брат, — вскричал я, входя, — брат, радуйся: ты спасен! Мария попросит твоей жизни у отца вместо свадебного подарка.

Невольник вздрогнул.

— Мария, свадьба, моя жизнь! Как может все это быть вместе?

— Очень просто, — отвечал я, — Мария, которой ты спас жизнь, выходит замуж.

— За кого? — вскричал невольник с блуждающим и грозным взором.

— Разве ты не знаешь? — отвечал я кратко. — За меня. Его грозное лицо приняло вновь доброе и покорное выражение.

— Ах, да, правда, — сказал он, — за тебя. А когда свадьба?

— 22 августа.

— 22-го? Да ты с ума сошел, — проговорил он с выражением тоски и испуга.

Он умолк. Я смотрел на него изумленный. Помолчав, он пожал мне быстро руку.

— Брат, я так обязан тебе, что должен дать тебе добрый совет. Верь мне, уезжай в Кап и обвенчайся раньше 22 августа.

Напрасно просил я объяснить мне смысл этих загадочных слов.

— Прощай! — сказал он мне торжественно. — Быть может, я сказал тебе уже слишком много; но я еще больше ненавижу ложь, чем клятвопреступление.

Я ушел от него, полный колебаний и тревог, которые вскоре, впрочем, были совершенно вытеснены мыслью о близком счастье.

Дядя взял обратно свою жалобу в тот же день.

Я отправился снова в форт, чтобы выпустить Пьерро. Таде, зная об его освобождении, вошел со мною в тюрьму. Его там не было. Там был только Раск, который подошел ко мне, ласкаясь; на шее у него был привязан пальмовый лист; я отвязал лист и прочел следующие слова: „Благодарю тебя, ты спас мне жизнь в третий раз. Брат, не забывай своего обещания“. А внизу вместо подписи стояло по-испански: „Я—контрабандист“.

Таде был еще более изумлен, чем я; он не знал тайны слухового окошка и вообразил себе, что негр превратился в собаку. Я не выводил его из заблуждения и только потребовал, чтобы он молчал обо всем им виденном.

Я хотел увести с собою Раска, но, как только мы вышли из форта, он бросился в лес и исчез.

XIII

Дядя пришел в бешенство, узнав о побеге невольника. Он приказал разыскать его и написал губернатору, чтобы ему выдали Пьерро, если его поймают.

22 августа наступило. Наше бракосочетание состоялось при торжественной обстановке в Акульской церкви. Каким счастливым был этот день, с которого должны были начаться все мои несчастья. Я находился в блаженном упоении. Я совершенно забыл о Пьерро и его странном совете. Так нетерпеливо ожидаемый вечер наконец наступил. Моя молодая жена удалилась в отведенные нам комнаты, куда я не мог последовать за нею так скоро, как бы мне того хотелось, потому что мне приходилось исполнить сначала одну скучную, но необходимую обязанность. Как капитан ополченцев я принужден был совершить в тот вечер обход Акульских постов; эта предосторожность являлась необходимой вследствие смут в колонии, вызванных частичными восстаниями негров, правда, скоро подавляемыми, но все же происшедшими в июне, июле и даже в первых числах августа на плантациях Тибо и Лагоссет, и особенно вследствие волнений среди свободных мулатов, озлобленных недавней казнью мятежника Ожэ. Дядя первый напомнил мне о моем долге, и мне пришлось покориться. Я облекся в свой мундир и отправился в путь. Первые посты я обошел, не встретив ничего тревожного, но около полуночи, когда я прогуливался в раздумьи близ батарей залива, я увидел на горизонте красноватый свет в направлении Сан-Луи. Зарево поднималось все выше и выше, разрастаясь; солдаты и я приняли это сначала за какой-нибудь случайный пожар, но спустя минуту пламя стало таким ярким, дым, подгоняемый ветром, до того сгустился, что я поспешил обратно в форт, чтобы поднять тревогу и выслать помощь. Проходя мимо хижин наших негров, я был удивлен царившим там волнением. Большинство негров еще не спало и переговаривалось между собою с величайшим оживлением. Посреди их непонятного жаргона часто повторялось странное имя: „Бюг Жаргаль“. Мне удалось однако разобрать несколько



Вихри искр летели, точно густой снег, на крыши домов и на суда на рейде.

слов, смысл которых сводился к тому, что негры северной равнины возмутились и подожгли жилища и плантации по ту сторону Капа. Проходя болотистым грунтом, я наткнулся ногой на кучу топоров и кирок, спрятанных в тростниках. Не без основания встревоженный, я сейчас же приказал собраться местному ополчению и велел наблюдать за невольниками. На время все успокоилось.

Между тем пожар с минуты на минуту захватывал все большее и большее пространство. Вдали как-будто слышался треск артиллерии и ружейных залпов. Около двух часов ночи дядя, которого я разбудил, будучи не в силах далее сдерживать свою тревогу, приказал мне оставить в Акуле часть ополчения под командою поручика, и пока моя бедная Мария спала или ждала меня, я, повинувшись дяде, бывшему, как я уже говорил, членом провинциального собрания, направился с отрядом солдат в Кап.

Никогда не забуду я вида этого города. Пламя, пожиравшее окружающие плантации, заливало его мрачным багровым светом, затемнявшимся клубами дыма, гонимого ветром по улицам. Вихри искр, образуемые пылающими остатками сахарного тростника, стремительно летели, точно густой снег, на крыши домов в городе и на суда на рейде, угрожая с минуты на минуту зажечь в Капе пожар не менее ужасный, чем пожар в его окрестностях. Страшное и величественное зрелище представляла вся картина: с одной стороны бледные городские жители, подвергавшие опасности свою жизнь, чтобы спасти свой кров, единственный остаток богатства; с другой стороны, корабли, которые, опасаясь той же участи и пользуясь благоприятным для них ветром, столь убийственным для несчастных колонистов, удалялись на всех парусах по морю, багровому от кровавого зарева пожарища.

-XIV

Оглушенный пушечной пальбой из фортов, воплями беглецов и отдаленным треском разрушения, я не знал, куда направить своих солдат, когда мне встретился на лошади капитан желтых драгун, который принял на себя обязанность быть нашим проводником. Не стану описывать вам, господа, картину пылающих плантаций. Скажу вам только, что восставшие негры овладели уже всеми ближайшими плантациями, что наполняло меня тревогой за плантации дяди.

Я поспешил явиться в дом губернатора, господина Бланшланда, где все поддались смятению, не исключая самого хозяина. Я спросил, каковы будут его приказания, прося позабо-

титься поскорее о безопасности Акуля, который считали уже под угрозой. У губернатора были генерал-майор господин де-Руврэ и один из крупнейших землевладельцев острова, господин де-Рузар, подполковник Капского полка, несколько членов колониального и провинциального собраний и кое-кто из именитейших колонистов. Когда я явился, это импровизированное собрание шумно спорило. Губернатор прервал спор.

— Вот доставленные мне доклады. Восстание вспыхнуло сегодня ночью в имении Пюрпэн. Невольники под командою английского негра по имени Букман увлекли за собой рабочих имений Клемен, Тремес, Флавиль и Ноэ. Они сожгли все плантации и неслыханно зверски перерезали колонистов.

При этих словах господина Бланшланда трепет пробежал среди присутствующих.

— Вот что происходит за пределами города,—продолжал он.—В городе же царит полная неурядица. Некоторые жители Капа убили своих невольников из страха. Самые добрые или самые храбрые просто засадили их под замок. Белые не-землевладельцы обвиняют во всех бедствиях свободных мулатов, и некоторые мулаты едва не сделались жертвами народной ярости. Я приютил их в церкви, охраняемой батальоном солдат. И теперь в доказательство того, что они не сообщники восставших негров, мулаты просят призвать их в военную организацию и снабдить оружием.

— Не соглашайтесь,—крикнул испуганный голос.— Не делайте этого, господин губернатор, не давайте оружия мулатам.

— Значит, вы не хотите драться,—спросил внезапно один колонист.

Тот притворился, что не слышит, и продолжал:

— Люди смешанной крови—наши злейшие враги. Они одни опасны для нас. Я согласен с тем, что восстания можно было ждать только от них, а не от невольников. Разве невольники представляют собою что-либо?

— Нет,—возразил старый генерал-майор Руврэ,—невольники кое-что собой представляют; их сорок против троих, и плохо пришлось бы нам, если бы мятежникам некого было противопоставить, кроме таких белых, как вы.

Колонист прикусил губу.

— Что вы думаете, ваше превосходительство, о предложении мулатов? — спросил губернатор.

— Дайте им оружие, господин губернатор, — отвечал господин де-Руврэ, — пустим в ход все наши средства, — и, обернувшись к подозрительному колонисту, он добавил: — Слышите, сударь. Отправляйтесь вооружаться.

Между тем отчаянные вопли, раздававшиеся по всему городу, доносились до губернаторского дома, напоминая членам этого совещания о цели их собрания. Господин Бланшланд вручил одному из своих адъютантов поспешно набросанный карандашом приказ и прервал мрачное молчание, в котором собрание прислушивалось к этому грозному волнению.

— Мулаты будут вооружены, господа, но остается принять еще ряд других мер.

Один колонист, некто С., называвший себя гражданином и генералом в силу того, что он устроил несколько казней, вскричал:

— Казни нужнее сражений. Нации требуют грозных примеров; надо навести ужас на негров. Я усмирил июньские и июльские восстания, выставив на кольях пятьдесят невольничьих голов по обе стороны въезда в мой дом. Пусть все присоединится к моему предложению. Защитим Кап с помощью оставшихся у нас негров.

— Как? Вот была бы неосторожность! — слышалось со всех сторон.

— Вы не понимаете, господа, — продолжал гражданин генерал. — Мы устроим цепь из голов негров вокруг всего города, от Пиколе до мыса Караколь, и бунтовщики не осмелятся приблизиться. В подобную минуту надо жертвовать собою для общего дела. Я первый предлагаю оставшихся у меня пятьсот мирных негров.

Это отвратительное предложение было встречено отрицательно.

— Подобные меры погубили все, — сказал один колонист. — Если бы не поторопились казнить всех июньских, июльских и августовских мятежников, то удалось бы открыть нить всего заговора, разрубленную топором палача.

Гражданин и генерал С. что-то бурчал сквозь зубы.

— Вот мой совет, господин губернатор, — сказал чей-то голос: — сядем все на „Леопольда“, стоящего на рейде.

— Назначим цену за голову Букмана, — сказал другой голос.

— Известим обо всем происходящем губернатора Ямайки.

— Да, для того, чтобы он опять выслал нам на помощь всего-на-всего пятьсот солдат, — сказал депутат провинциального собрания. — Господин губернатор, отправьте во Францию вестовое судно, и будем ждать.

— Ждать! Ждать! — с силою перебил господин де-Руврэ. — Разве негры станут ждать? А пламя, уже окружающее город, тоже станет ждать? Господин де-Тузар, прикажите бить тревогу, берите пушки, надо напасть на главные силы мятежников с вашими гренадерами и стрелками. Господин губернатор, прикажите разбить лагери во всех восточных проходах; устройте военные посты в Тру и Вальере; я беру на себя равнины Дофинова форта. Я построю там укрепления, потому что смыслу кое-что в этом деле. Впрочем, равнины Дофинова форта, почти окруженные морем и испанскими границами, имеют форму полуострова, что составит как бы природную защиту; полуостров Мола представляет такое же удобство. Воспользуемся всем этим, и за дело.

Энергичная речь ветерана внезапно прекратила всю разногласицу во мнениях. Генерал был прав. Все присоединились к мнению господина де-Руврэ; губернатор пожал с благодарностью руку храброго генерала, давая ему понять, что чувствует, как ценны его советы и как важна его помощь, а все колонисты стали требовать быстрого исполнения намеченных мер.

Я воспользовался этой минутой для того, чтобы добиться от господина де-Бланшланда приказаний, вышел, чтобы вновь собрать своих солдат с целью немедленного возвращения в Акуль, не взирая на усталость всех моих спутников. Сам я никакой усталости не чувствовал.

XV

День едва занимался, а я был уже на площади и будил ополченцев, которые спали на своих шинелях вперемежку с желтыми и красными драгунами, беглецами из опусто-

шенных мест, мычащим и блеющим скотом и всевозможным скарбom, навезенным окрестными плантаторами. Я разыскивал своих солдат среди этого беспорядка, как вдруг заметил, что ко мне несется во весь опор на коне желтый драгун, весь в поту и пыли. Я бросился к нему навстречу и узнал, к своему ужасу, из его немногих слов, что опасения мои оправдались: что восстание достигло Акульских равнин и что негры осаждают форт Галифе, где заперлись ополченцы и колонисты. Надо вам сказать, что как укрепление форт Галифе был сущим пустяком; в Сан-Доминго фортom называли всякую земляную насыпь.

Значит, нельзя было терять ни минуты. Я посадил на коней тех из своих солдат, для которых мне удалось достать лошадей, и, руководимый драгуном, прибыл во владения дяди к десяти часам утра.

Я едва взглянул на эти огромные плантации, представлявшие теперь море пламени и тучи дыму, среди которых пролетали порой, точно искры, гонимые ветром, целые стволы деревьев, охваченные огненными языками. Ужасающий треск, скрип и ропот словно отвечали отдаленному вою негров, которых мы уже слышали, хотя их еще не было видно. Мною овладела всецело только одна мысль—мысль о спасении Марии. Раз Мария будет спасена, не безразлично ли мне все остальное? Я знал, что она в форте, и желал только добраться туда во-время. Меня поддерживала надежда, придававшая мне львиные мужество и силу.

Наконец за поворотом дороги мы увидели форт Галифе.

Над ним еще развевался трехцветный флаг, и огонь выстрелов опоясывал очертания его стен. Я вскрикнул от радости. „В галоп, прищюрьте коней, бросьте повод!“—закричал я своим товарищам. И с удвоенной быстротой мы понеслись по полю к форту, у подножия которого был виден дом дяди с разбитыми дверями и окнами, красный от зари, но не тронутый огнем, потому что ветер дул с моря, а дом стоял в стороне от плантаций.

Множество негров засело в этом доме; их можно было видеть во всех окнах и даже на крыше; их факелы, пики, топоры сверкали, гремели непрерывные залпы по форту, негры карабкались по лестницам, приставленным к стенам

осаждаемого форта, падали и снова лезли на эти стены. Этот поток негров, все время отбрасываемый и снова появляющийся на этих серых стенах, походил издали на рой муравьев, которые пытались взобраться на панцырь большой черепахи и от которых медлительное животное отделялось тем, что время от времени вдруг встряхивалось.

Наконец мы достигли первых окопов крепости. Не спуская глаз с развевавшегося на ней флага, я ободрял своих солдат, напоминая им об их семьях, которые вместе с моей семьей заперлись в этих стенах и на помощь которым мы спешили. В ответ мне раздался единодушный возглас, и, построив свой небольшой эскадрон в колонну, я приготовился подать знак к атаке на нападающих негров.

В это мгновение из форта вырвался ужасный крик, вихрь дыма окутал все здание, клубясь некоторое время вокруг стен, откуда доносился треск пожара. Когда дым рассеялся, нам открылся форт Галифе, увенчанный красным флагом. Все было кончено.

XVI

Как мне передать вам то, что произошло в эту минуту в моей душе? Падение форта, где умертвили всех защитников и перерезали двадцать семей, весь этот погром,—все это, признаюсь, к стыду своему, ни на минуту меня не озаботило. Мария погибла для меня! Погибла для меня всего через несколько часов после того часа, который отдал мне ее навсегда! И погибла по моей вине, потому что, не расстанься я с нею предыдущеею ночью для того, чтобы отправиться в Кап по приказанию дяди, я мог бы, по крайней мере, защитить ее или умереть подле нее и с нею! Тогда я не лишился бы ее совсем! Эти мысли доводили мою скорбь до безумия. Отчаяние мое было в то же время и угрызением совести.

Мы бросились с саблями в зубах, с пистолетами в обеих руках в самую гущу победителей - повстанцев. Негры бежали при нашем приближении.

У одного из подземных выходов форта я увидел Тадэ, совершенно израненного.

— Ваше благородие,—сказал он мне,—ваш Пьерро просто колдун, оби, как говорят эти проклятые негры, или по меньшей мере дьявол. Мы держались, а с вашим прибытием все было бы спасено, как вдруг он проник в форт, уж не знаю откуда, и вот вы видите... Что же касается вашего дяди, его семьи и вашей жены...

— Мария! — прервал я. — Где Мария?

В эту минуту из-за пылавшего палисадника выбежал высокий негр, неся на руках кричавшую и вырывавшуюся от него молодую женщину. То была Мария, а негр был Пьерро.

— Изменник! — вскричал я.

Я направил на него пистолет, но один из мятежных негров бросился под пулю и упал мертвый. Пьерро обернулся, точно крича мне что-то, а потом скрылся вместе со своей добычей посреди пылавших сахарных тростников. Через минуту за ним пробежал огромный пес, неся в пасти колыбель с последним ребенком дяди. Я узнал также и пса—то был Раск. В бешенстве я выстрелил в него из второго пистолета, но промахнулся.

Я бросился как безумный вслед за ним, но мои ночные поездки, столько времени без отдыха и пищи, опасения за Марию, внезапный переход от крайнего блаженства к крайнему несчастью—все эти душевные волнения истощили меня еще больше, чем физическое утомление. Едва пробежав несколько шагов, я пошатнулся, в глазах у меня затуманилось, и я упал без чувств.

XVII

Очнулся я в опустошенном дядином доме в объятиях Тадэ. Он смотрел на меня с мучительным беспокойством во взоре.

— Победа! — вскричал он, как только почувствовал биение моего пульса. — Победа! Негры рассеяны, а капитан воскрес!

Я прервал его радостный крик вопросом:

— Где Мария?

Я не собрался еще с мыслями, я только чувствовал, а не сознавал постигшего меня несчастья. Тадэ поник головой. Тогда ко мне вернулась память; я припомнил свою ужасную свадебную ночь, и высокий негр, уносящий Марию на руках сквозь огонь, возник передо мною точно адский призрак. Похищение моей жены в самую ночь нашей свадьбы досказало мне то, что прежде я только подозревал, а теперь понял ясно: что певец близ беседки был не кто иной, как гнусный похититель Марии. Сколько перемен в такой короткий срок!

Тадэ рассказал мне, что он тщетно гнался за Пьерро и его собакой, что негры отступили, что пожар владений моих родственников продолжался и потушить его было невозможно.

Я спросил его, известно ли, что случилось с моим дядей, в спальню которого меня перенесли. Он взял меня молча за руку, подвел к алькову и раздвинул его полог.

На постели лежал мой несчастный дядя весь в крови, в груди его торчал кинжал. По спокойному выражению лица было видно, что убит он был во сне. Постель карлика Хабибры, который спал обыкновенно у его ног, была также запятнана кровью и такие же пятна виднелись на раззолоченной куртке бедного шута, валявшейся в нескольких шагах от постели.

Оплакивая дядю, я пожалел также и шута. Я приказал разыскать его тело, но все поиски были напрасны.

XVIII

Форт Галифе был разрушен, жилища наши исчезли; дальнейшее пребывание в этих развалинах было бесполезно и невозможно. В тот же самый вечер мы возвратились в Кап.

Там я захворал жестокой горячкой. Напряжение воли, употребленное мною на то, чтобы подавить в себе отчаяние, превысило мои силы. Чересчур натянутая пружина лопнула, и мною овладел бред. Мои обманутые надежды, моя оскверненная любовь, моя попранная дружба и испорченная будущность, а особенно неумолимая ревность помutilи мой

рассудок. Мне казалось, что в жилах моих течет пламя, голова моя трещала, ярость клокотала в сердце. Я представлял себе Марию во власти другого, во власти повелителя-невольника. Мне потом рассказывали, что я вскакивал с постели и что нужна была сила шести человек, чтобы помешать мне размогнуть себе череп о стены.

Кризис миновал. Доктора, заботливый уход за мною Таде и таинственная жизненная сила, свойственная молодости, победили злой недуг. Я оправился через десять дней.

Едва оправившись, я явился к господину де-Бланшланду проситься на службу. Он хотел поручить мне защиту какого-нибудь поста, но я умолял его зачислить меня волонтером в один из летучих отрядов, которые посылались время от времени против негров, чтобы очистить от них местность.

Кап поспешили укрепить. Восстание делало ужасающие успехи. Негры в Порт-о-Пренс начинали волноваться; Биассу командовал неграми Лэмбе, Дондона и Акуля; Жан-Франсуа провозгласил себя генералиссимусом повстанцев равнины Марибару; Букман, прославившийся позднее своей трагической смертью, господствовал на берегах Лимонады; и наконец негры Красной Горы признали своим вождем какого-то негра по имени Бюг Жаргаль.

Моя надежда на мщение не была близка к осуществлению. О Пьерро я больше ничего не слышал. Мятежники под предводительством Биассу продолжали осаждать Кап и даже осмелились однажды приблизиться к горе, возвышающейся за городом, и пушкам цитадели едва удалось отбить их. Губернатор решил оттеснить негров в глубину острова. Наша действующая армия состояла из ополчения Акуля, Лэмбе, Уанамита и Марибару в соединении с капским полком и с грозными желтой и красными ротами. Городской гарнизон состоял из ополчений Дондона и Дофинова квартала, усиленных корпусом волонтеров под начальством негодяя Понсиньона.

Прежде всего губернатор вздумал отделаться от беспокоившего его Бюг Жаргалья и послал против него уанамитское ополчение и один из капских батальонов. Спустя два дня корпус этот возвратился, разбитый на голову. Губернатор упорствовал в своем желании победить Бюг Жаргалья

и отправил тот же самый корпус, усиленный полусотней желтых драгун и четырьмя сотнями марибарусских ополченцев. Это войско потерпело поражение еще более жестокое. Тадэ, участвовавший в этой экспедиции, был страшно раздосадован и поклялся мне в свою очередь, что отомстит Бюг Жаргалю.

На глазах д'Овернэ навернулись слезы; он скрестил руки на груди и погрузился на несколько минут в скорбное раздумье. Потом он продолжал.

XIX

Пришло известие, что Бюг Жаргаль покинул Красную Гору и ведет свое войско горами с целью соединиться с Биассу. Губернатор запрыгал от радости и сказал, потирая руки: „Ну, теперь он нам попался!“ На другой день колониальная армия была двинута в поход. При нашем приближении повстанцы покинули поспешно Порт-Марго и форт Галифе, где они устроили пост, защищенный крупными пушками, снятыми с береговых батарей, и отступили к горам. Губернатор торжествовал, а мы продолжали продвигаться вперед.

Порой путь нам преграждали горевшие леса и саванны, подожженные наравне с обработанными полями. В этом климате, где почва еще девственна, где растительность изобильна до чрезмерности, лесной пожар сопровождается странными явлениями: пожар этот слышен еще издали; прежде чем его увидишь, уже доносятся треск и шум, точно от низвергающегося водопада. Трескающиеся стволы деревьев, ломающиеся сучья, лопающиеся под землей корни, шумящие высокие травы, свист пламени в воздухе — все это вместе производит невообразимый шум, то стихающий, то увеличивающийся по мере усиления пожара.

На третий день вечером мы вступили в ущелье Большой Реки. Предполагалось, что негры находятся в горах, верстах в двадцати.

Мы расположились лагерем на пригорке. Позиция эта была не из удачных, но, по правде сказать, мы были спо-

койны. Со всех сторон над пригорком возвышались остроко-
нечные скалы, поросшие густым лесом. Расщелины здесь
были до того усеяны шероховатостями, что место это про-
звали „Укротителем мулатов“. Большая Река протекала в тылу
лагеря и, сжатая между двух скал, была здесь узка и глу-
бока. Ее крутые, высокие берега поросли группами кустар-
ников, непроницаемых для глаза. Зачастую даже ее водная
поверхность исчезала под гирляндами лиан, которые, цеп-
ляясь за ветви кленов с их красными цветами, разбросан-
ными среди кустарников, перекидывались с берега на берег,
перепутывались на тысячи ладов и образовывали над рекою
зеленые шатры. Если смотреть на них с вышины соседних
скал, то казалось, что видишь луга, еще мокрые от росы.
Лишь глухой шум да внезапный полет дикой утки, проры-
вавший эту цветущую завесу, обличали существование реки.

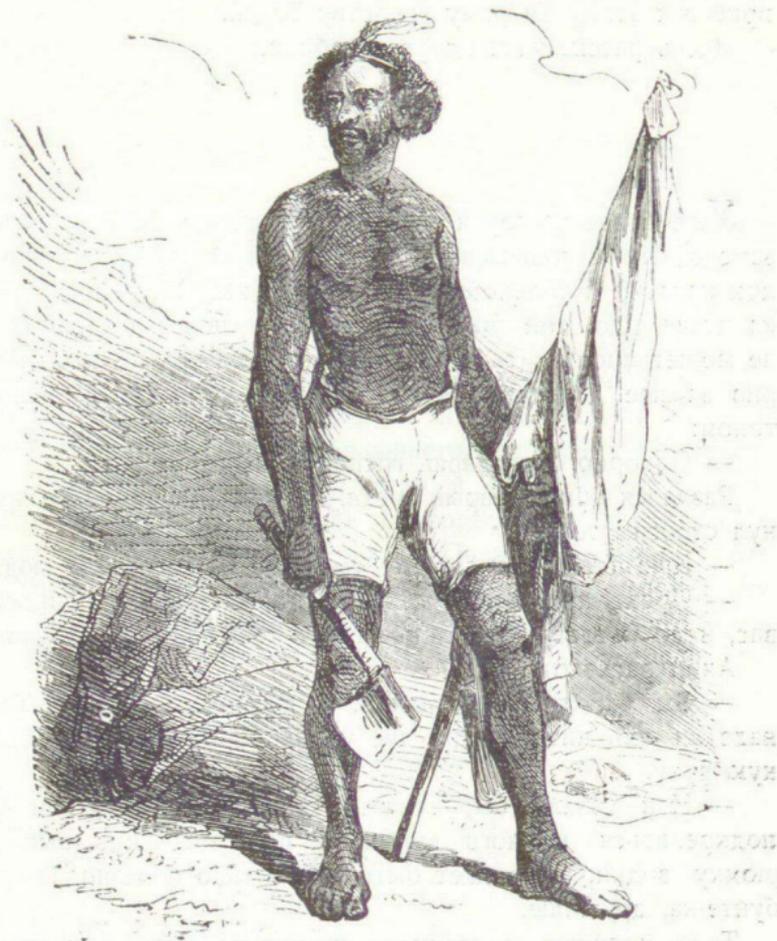
Скоро солнце перестало золотить острые вершины Дон-
донских гор; мало-по-малу над лагерем воцарилась тишина,
нарушаемая лишь криками журавлей да мерным шагом
часовых.

Вдруг над нашими головами раздалась грозные звуки
революционных песен негров, пальмы и кедры, увенчивав-
шие скалы, загорелись, и при багровом пламени пожара мы
разглядели на соседних вершинах многочисленные отряды
негров и мулатов, медные лица которых казались красными
от зарева. Это были отряды Биассу.

Опасность была близка. Внезапно разбуженные командиры
бросились собирать своих солдат, барабан забил сбор, трубы
заиграли тревогу; ряды наши беспорядочно выстраивались,
а между тем мятежники, вместо того, чтобы воспользоваться
нашим смятением, стояли неподвижно и смотрели на нас,
распевая свои песни.

Гигантского роста негр показался над одной из при-
брежных скал; над его челом развевалось огненно-красное
перо, в правой руке он держал топор, а в левой красный
флаг; я узнал Пьерро. Если б у меня оказался под рукой
карабин, я, быть может, совершил бы в бешенстве настоя-
щую низость. Он повторил припев революционной песни,
водрузил свой флаг на вершине, швырнул в нас своим топо-
ром и исчез в волнах реки.

Тогда негры принялись скатывать на наши колонны огромные каменные глыбы; на наш пригорок посыпался град пуль и стрел. Наши солдаты выходили из себя от того, что не



Огромного роста негр с огненно-красным пером на голове показался на одной из скал...

могли добраться до нападающих, и умирали в отчаянии, раздавленные каменными глыбами, пронзенные пулями или стрелами. В наших рядах царило страшное смятение. Вдруг, точно из самой середины Большой Реки, послышался ужасный

шум. Там происходила необыкновенная сцена. Желтые драгуны, сильно пострадавшие от громад, скатываемых мятежниками с горных вершин, надумали, спасаясь от них, спрятаться под гибкие своды лиан, закрывающих реку. Первым прибег к этому хитрому средству Тадэ...

Здесь рассказчика вдруг перебили.

XX

Уже более четверти часа, как сержант Тадэ, никем не замеченный, с подвязанной правой рукой, пробрался в уголок палатки и только жестами выражал свой интерес к речам капитана, до той минуты, как ему показалось, что он не может пропустить такую прямую похвалу, не поблагодарив за нее д'Овернэ. И вот он забормотал сконфуженным тоном:

— Покорно благодарю, господин капитан.

Раздался общий взрыв смеха. Д'Овернэ обернулся и крикнул строгим тоном:

— Как! Ты здесь? Почему ты ушел из госпиталя сюда?

— Прошу прощения, господин капитан, я пришел спросить вас, надо ли завтра надеть на вашего коня чепрак с галунами?

Анри расхохотался.

— Вы бы лучше спросили у полкового лекаря, Тадэ, надо ли положить завтра две унции корпии на вашу больную руку.

— Или узнали бы, — сказал Паскаль, — можно ли вам подкрепиться немного вином; а пока что вот выпейте рюмку водки; это может быть вам только полезно. Попробуйте-ка, дружище.

Тадэ подошел, поклонился, извинился, что берет рюмку левой рукой, и осушил ее за здоровье своей роты. Он оживился:

— Вы дошли до того места, как вы, господин капитан... Ну, да, я-то предложил скрыться под лианы... Наш командир не умея плавать, противился этому всеми силами, потому что боялся утонуть, что весьма естественно, пока не увидел, как крупный камень, который чуть не задавил его, упал в реку, но

не погрузился в воду, потому что его задержала трава. Здесь он согласился поступить по моему совету с условием, что я пойду первым. Я и пошел, спустился по берегу, прыгнул под навес, держась за верхние ветки. Но, вообразите, я почувствовал, что меня тянут за ногу; я вырывался, звал на помощь, меня били саблями, но тут все драгуны, злые как черти, бросились, как попало, в лианы.

Оказалось, негры с Красной Горы спрятались там, хотя никто и не подозревал этого, и, вероятно, намеревались скоро напасть на нас. Плохая минута была бы для рыбной ловли! Все дрались, ругались, кричали. Так как они были обнажены, то они были проворнее нас, но зато наши удары были более меткими. Плывая одной рукой, мы дрались другою, как это всегда делается в таких случаях. А кто не умел плавать, те, вообразите, господин капитан, цеплялись одной рукой за лианы, а негры тянули их за ноги. Посреди свалки я разглядел высокого негра, отбивавшегося от восьми или десяти моих товарищей; я поплыл туда и узнал Пьерро, иначе говоря, Бюга... Но это ведь откроется только потом. Не правда ли, господин капитан? Я узнал Пьерро. Со взятия форта мы были в ссоре; я схватил его за горло, и он собирался уже заколоть меня кинжалом, как вдруг взглянул на меня и, вместо того, чтобы убить меня, сдался; и это было кстати, господин капитан, потому что, не сдайся он... Но это все узнается потом. Как только негры увидели, что он в плену, так бросились на нас, чтобы освободить его; и вот ополченцы собирались уж тоже лезть в воду, к нам на помощь, как вдруг Пьерро, понимая, должно быть, что негров перережут, сказал несколько слов на каком-то чортовом языке, от которого они все разбежались. Они нырнули и в одну минуту исчезли. Это сражение под водою было бы приятно и позабавило бы меня, если бы я не лишился там пальца и не подмочил десяти патронов, и если бы... бедняга! Но это уж было так суждено, господин капитан.

И сержант, отдав почтительно честь левой рукой, поднял эту руку к небу с вдохновенным видом.

Д'Овернэ был, повидимому, сильно взволнован.

— Да, — сказал он, — да, ты прав, старина, эта ночь была роковою ночью.

И он погрузился бы в ту глубокую задумчивость, которая была свойственна ему, если бы присутствующие не стали горячо упрашивать его продолжать.

XXI

Пока за пригорком происходила сцена, описанная Тадэ, мне удалось с несколькими солдатами вскарабкаться на остроконечную гору, прозванную Павлиным Пиком вследствие радужных переливов слюды, рассыпанной по его поверхности и сверкавшей на солнце. Этот пик возвышался на одном уровне с позициями негров. Когда путь был пробит, вершина быстро покрылась ополченцами, и мы принялись отстреливаться. Негры, не так хорошо вооруженные, как мы, не могли отвечать нам таким же огнем; они начали падать духом, мы же удвоили рвение, и скоро соседние скалы были очищены от восставших. Тогда мы срубили и связали пальмовыми листьями и веревками несколько стволов огромных диких хлопчатных деревьев.

С помощью этого импровизированного моста мы перебрались на покинутые вершины, и часть наших войск оказалась таким образом на выгодной позиции. Это поколебало мужество восставших. Мы поддерживали огонь. Вдруг в войске Биассу раздались жалобные вопли, среди которых то-и-дело слышалось имя „Бюг Жаргаль“. Ужас овладел мятежниками. Несколько негров Красной Горы появились на скале, где развевался красный флаг; они пали ниц, сняли свое знамя и бросились с ним в пучину Большой Реки. Очевидно, это значило, что их вождь убит или взят в плен.

Это до того увеличило нашу смелость, что я решил прогнать мятежников холодным оружием с занимаемых ими высот. Я приказал перебросить мост из древесных стволов между нашим пиком и ближайшей скалой и кинулся первый в гущу негров. Мои солдаты готовились последовать за мною, когда один из мятежников разбил вдребезги мост одним взмахом топора. Обломки скатились в бездну со страшным грохотом. Я обернулся, и в ту же минуту меня схватили семь или восемь негров, которые сейчас же обезоружили меня. Я от-

бивался, как лев, но они связали меня древесными ветками, не обращая внимания на град пуль, которыми осыпали их солдаты.

Отчаяние мое смягчалось только победными криками, которые раздались минуту спустя вокруг меня; скоро я увидел, что негры и мулаты взбираются врассыпную на самые крутые вершины, испуская отчаянные вопли. Мои караульщики последовали их примеру, при чем самый сильный из них взвалил меня себе на плечи и потащил к лесу, перескакивая со скалы на скалу с проворством серны. Скоро свет пламени перестал освещать ему дорогу, но и бледного света луны оказалось для него достаточно; он лишь умерил свой бег.

XXII

Пробравшись сквозь лесные чащи и перейдя несколько потоков, мы достигли возвышенной долины, поразительно дикой. Место это было мне совершенно незнакомо.

Долина эта находилась в самом сердце гор, в такой местности, которая называется в Сан-Доминго двойными горами. Это была обширная зеленая саванна, усеянная группами сосен и капустных пальм и стиснутая между стенами оголенных скал. Резкий холод, почти постоянно царящий в этой местности, хотя морозов там не бывает, казался еще ощутительнее благодаря ночной прохладе. Утро едва брезжило, заря чуть начинала золотить белизну высоких окрестных вершин, и долина, еще погруженная в глубокий мрак, освещалась лишь множеством огней, зажженных неграми, ибо это место было их сборным пунктом. Рассеянные части их войска беспорядочно стекались сюда. От времени до времени появлялись разрозненными кучками негры и мулаты, испускавшие крики отчаяния или яростный рев. Каждую минуту во мраке саванны загорались все новые огоньки, блестящие словно глаза тигров; это доказывало, что линия лагеря расширялась.

Негр, захвативший меня в плен, спустил меня у подножия дуба, откуда я беспрепятственно наблюдал это странное зрелище. Он привязал меня к стволу дерева, у которого я стоял, стянул еще крепче двойные узлы, связывавшие меня,

надел мне на голову свой красный шерстяной колпак, вероятно, в знак того, что я принадлежу ему, и, убедившись таким образом, что я не могу ни убежать от него, ни быть уведенным другими, сделал уже движение, чтобы уйти. Тогда я решился заговорить с ним и спросил его на крепольском жаргоне, принадлежит ли он к Дондонской шайке или к шайке Красной Горы. Он остановился и отвечал мне с гордым видом: „Красная Гора!“ У меня мелькнула мысль. Я много слышал о великодушии вождя этой шайки, Бюг Жаргалья, и, хотя я был вполне готов к смерти, избавлявшей меня от всех бед, я не мог не содрогнуться при мысли о тех пытках, которым я мог подвергнуться, попав в лапы Биассу. Я не желал ничего, кроме смерти, но только не под пыткой. Я думал, что если мне удастся миновать когти Биассу, то я могу добиться от Бюг Жаргалья смерти, достойной солдата, смерти без пыток. И вот я попросил этого негра с Красной Горы проводить меня к его вождю, Бюг Жаргалью. Он вздрогнул.

— Бюг Жаргаль! — сказал он, хлопнув себя с отчаянием по лбу, а затем, быстро переходя к бешенству, крикнул, показывая мне кулак: — Биассу! Биассу! — и, произнеся это грозное имя, он ушел от меня.

Гнев и отчаяние негра напомнили мне тот эпизод сражения, из которого мы заключили, что вождь отрядов Красной Горы или взят в плен или убит. Теперь я в этом уже не сомневался и приготовился к мести Биассу, которую, негр грозил мне.

XXIII

Между тем мрак покрывал еще долину, куда беспрестанно прибывали новые толпы негров и где количество огней все росло. Кучка негрятенок расположилась подле меня и зажгла костер. По бесчисленным браслетам из синих, красных и фиолетовых бус, сверкавших на их руках и ногах, по обручам, висевшим в их ушах, по кольцам, украшавшим все пальцы на руках и на ногах, по амулетам на груди и по ожерельям на шее, по переднику из пестрых перьев — единственной одежде, прикрывавшей их наготу, а главное — по их мерным воплям, по их мутным и блуждающим взорам

я понял, что предо мною гриоты. Вам, быть может, неизвестно, что среди негров, населяющих различные области Африки, существуют негры, одаренные каким-то непонятным поэтическим талантом импровизации, смахивающим на безумие. Негры эти, кочующие из области в область, представляют собою в этих диких краях то, чем были в древности рапсоды, а в средние века минестрели в Англии, миннезенгеры в Германии и трубадуры во Франции. Их называют гриотами. Их женщины, так же как и они, одержимы бесом безумия, сопровождают варварские песни мужей разнузданными плясками. И вот в нескольких шагах от меня несколько таких женщин уселись в кружок, поджав под себя по-африкански ноги, вокруг большой кучи сухих веток, ярко пылавших и бросавших на их отвратительные лица колеблющийся красный отблеск.

Как только образовался круг, они взялись все за руки, и самая старая из них, в волосах которой красовалось перо цапли, принялась выкрикивать: „Уанга!“ Я понял, что они намерены произвести одно их тех заклинаний, которым они дали это название. Все повторили: „Уанга!“ Самая старая, благоговейно помолчав, вырвала у себя клочок волос и бросила его в огонь, произнеся на жаргоне негров-креолов таинственные слова „Мале-о-гиаб“, означающие: „Я пойду к чорту!“ Все остальные, подражая ей, также бросили в пламя клочок своих волос, с важностью повторяя те же слова.

Увидев меня, негрятянки вскочили, точно внезапно разбуженные. Они стремительно бросились ко мне с криками: „Белый! Белый!“ Никогда не видывал я более разнообразного сборища ужасных лиц.

Они были готовы меня разорвать. Старуха с пером цапли сделала какой-то знак и крикнула несколько раз: „Стройтесь! Стройтесь!“ Фурии внезапно остановились, и я увидел не без изумления, что они срывают с себя свои передники из перьев; побросав эти передники на траву, они закружились вокруг меня в дикой пляске, которая называется неграми „чика“.

Пляска эта, смешные позы и быстрота, которой выражают только удовольствие и веселье, принимали здесь зловеющий характер. Угрожающие взоры, которые метали на меня эти ведьмы среди своих резвых прыжков, мрачная

окраска, придаваемая ими веселому мотиву чики, пронзительный, протяжный стон, время от времени извлекаемый почтенной руководительницей из своего балафо—инструмента, рокочущего как органчик и состоящего приблизительно из двадцати деревянных трубочек, постепенно укорачивающихся и утончающихся,—а особенно смех, с которым каждая нагая колдунья в промежутках пляски подходила вплотную ко мне, почти прижимаясь лицом к моему лицу, ясно предвещали мне страшную кару. Я вспомнил, что эти дикие племена имели привычку плясать вокруг пленников, прежде чем их зарезать, и терпеливо предоставил этим женщинам исполнить балет драмы, в которой героем кровавой развязки предстояло сделаться мне самому. Однако я не мог не содрогнуться, когда увидел, как под звуки балафо колдуни принялись класть в костер кто острие клинка, кто железный наконечник топора, кто длинную парусную иглу, клещи или пилу.

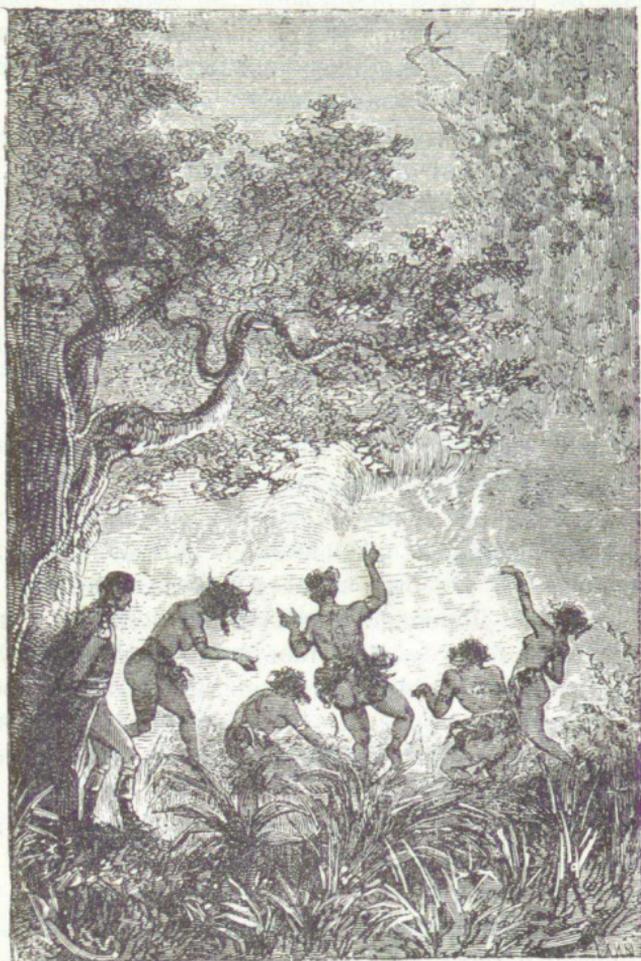
Пляска подходила к концу: орудия пытки были раскалены докрасна. По знаку старухи негритянки одна за другою отправились вынимать из огня эти ужасные инструменты.

Кому не удалось вооружиться раскаленным железом, те запаслись пылающей головней. Тогда я понял ясно, какая именно готовилась мне пытка, а также и то, что каждая танцовщица будет моим палачом. После новой команды предводительницы они начали кружиться в последний раз, испуская страшные вопли. Я закрыл глаза, чтобы не видеть, по крайней мере, потехи этих дьявольских баб, которые теперь, задыхаясь от усталости и бешенства, мерно стучали над головами своими раскаленными железными орудиями, издававшими пронзительный лязг и разбрасывавшими искры.

Собрав все свои силы, я ждал той минуты, когда тело мое ощутит страшную боль, когда кости станут обгорать, когда я весь буду извиваться от огненного прикосновения клещей и пил, и по членам моим пробежал трепет. То была ужасная минута.

К счастью, она длилась недолго. Танец ведьм приходил уже к концу, когда до меня донесся издали голос негра, взявшего меня в плен. Он бежал к нам, крича:

— Что вы делаете, чортовы бабы? Что вы делаете? Оставьте моего пленника!



Я вспомнил, что эти дикие племена имели обыкновение плясать вокруг пленников, прежде чем их зарезать...

Я открыл глаза. Теперь было уже совсем светло. Негр спешил добежать до нас, расточая тысячи гневных жестов. Колдуньи остановились, но, очевидно, их гораздо менее волновали его угрозы, чем поражал вид довольно странного субъекта, сопровождавшего негра.

То был очень толстый и очень маленький человек, нечто в роде карлика, лицо которого было закрыто белым

покрывалом, где были прорезаны три дырочки—для глаз и для рта, как это делается для кающихся. Покрывало это ниспадало ему на шею и плечи, обнажая его косматую грудь, имевшую цвет кожи мулатов; на груди блестела на золотой цепи серебряная помятая дароносица. Крестообразная рукоятка грубого кинжала торчала над его красным поясом, придерживавшим юбку с зелеными, желтыми и черными полосами, бахрома которых падала до его огромных уродливых ног. В руках, обнаженных, как и грудь, он держал белую палку; на поясе подле кинжала болтались четки; а на голове его красовалась остроконечная шапка, увешанная колокольчиками, в которой, когда он приблизился, я узнал с огромным изумлением колпак Хабибры. Посреди иероглифов, испещрявших эту своеобразную митру, виднелись пятна крови. Вероятно, то была кровь шута.

Когда колдуньи увидели этого наследника колпака Хабибры, они вскричали все вместе: „Колдун!“ и пали ниц. Я догадался, что это был чародей войска Биассу.

— Довольно! Довольно! — сказал он, подходя к ним, глухим и строгим голосом. — Оставьте пленника Биассу!

Негритянки вскочили в беспорядке на ноги, побросали свои смертоносные орудия, облеклись вновь в свои передники из перьев и по одному жесту колдуна рассеялись, словно стая саранчи.

В эту минуту взгляд колдуна остановился на мне; он вздрогнул, отступил на шаг и махнул своей белой палкой в сторону негритянок, как бы собираясь вернуть их. Однако, пробормотав сквозь зубы слово „Проклятый!“, он сказал что-то на ухо негру и медленно удалился, скрестив руки, с видом глубокого раздумья.

XXIV

Тогда мой сторож сообщил мне, что Биассу желает меня видеть и что я должен приготовиться к свиданию с вождем, которое состоится через час.

Несомненно, судьба дарила мне еще час жизни. В ожидании появления Биассу мои взоры блуждали по лагерю

восставших, который был ярко освещен теперь дневным светом. Желая, вероятно, отдохнуть от работы, на которую они были осуждены в течение всей жизни, негры пребывали теперь в бездействии. Некоторые спали на самом солнце-пеке, головой к пылающему костру, другие, глядя перед собой то мутным, то яростным взором, тянули какую-то заунывную однообразную песню, присев на корточки на пороге чего-то в роде землянок, крытых листьями банановых деревьев или пальм; форма этих землянок напоминала наши солдатские палатки. Жены их, черные или медно-красные, готовили пищу для сражающихся; им помогали маленькие негрятя. Я смотрел, как они мешали вилами иньям, бананы, пататы, горох, кокосовые орехи, маис, караибскую капусту, именуемую ими „тайо“, и кучу других туземных плодов, варившихся вместе с большими кусками свинины, черепашьего и собачьего мяса. Вдали, у границ лагеря, гриоты обоего пола кружились большими хороводами вокруг костров, и ветер доносил до меня отрывки их варварских песен вместе со звуками гитар и балафо. Несколько часовых, поставленных на вершинах соседних скал, следили за окрестностями главной квартиры Биассу. Эти черные часовые, стоя на остроконечных вершинах гранитных пирамид, которыми были усеяны горы, часто поворачивались на месте, подобно флюгерам готических шпицов, и кричали друг другу, во всю силу своих легких, в знак полной безопасности: „Ничего! Ничего!“

По временам вокруг меня собирались кучки любопытных негров. Все они метали на меня грозные взгляды.

XXV

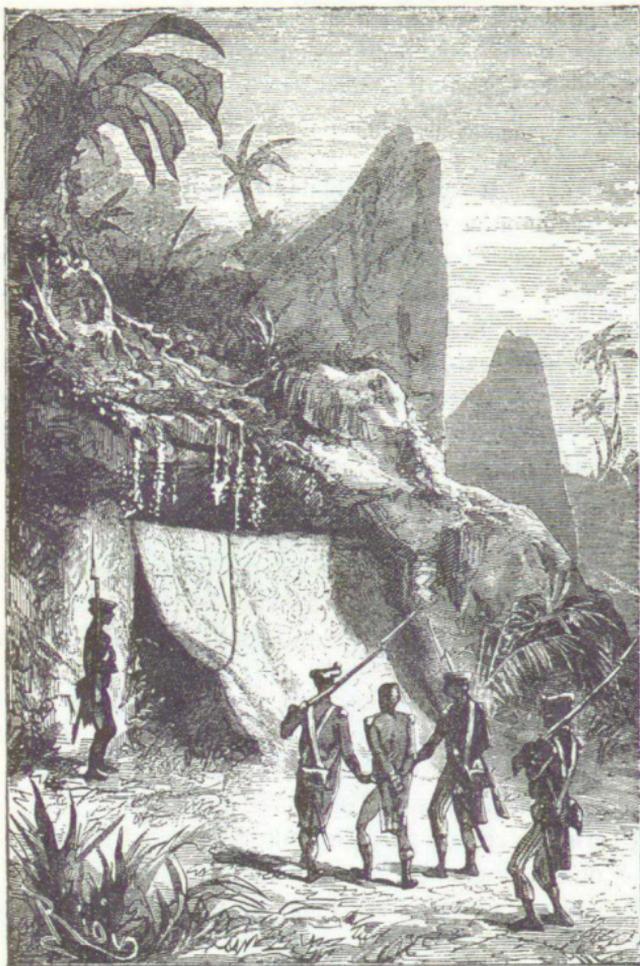
Наконец ко мне подошел взвод темнокожих солдат, довольно хорошо вооруженных. Негр, которому я, должно быть, принадлежал, отвязал меня от дуба и передал начальнику взвода; тот передал ему взамен меня туго набитый мешок, который негр тотчас же открыл. В мешке оказались пиастры. Пока негр, стоя на коленях на траве, жадно разглядывал монеты, солдаты меня увели. Я рассматривал

с любопытством их костюмы испанского покроя, сшитые из толстого коричневатого-красного сукна. Нечто в роде кастильской шапки, украшенной крупной испанской кокардой, прикрывало их волосы, похожие на шерсть. Вместо лядунок у них болтались на боку сумки в роде охотничьих. Оружие их состояло из тяжеловесного ружья, сабли и кинжала. Потом я узнал, что это был личный конвой Биассу.

Обойдя неправильные ряды шалашей, загромождавших лагерь, мы добрались до входа в пещеру, высеченную самой природой у подножия одной из огромных скал, что стеной окружали саванну. Внутренность этой пещеры была скрыта от глаз большой занавесью из той тибетской материи, которая называется кашемиром и замечательна не столько яркостью своих красок, сколько мягкостью складок и разнообразием рисунков. Пещера была окружена двойной шеренгой солдат, одетых как те, что привели меня сюда.

Обменявшись паролем и лозунгом с двумя часовыми, стоявшими перед порогом пещеры, предводитель отряда приподнял кашемировую занавесь, впустил меня и опустил ее снова.

Медный светильник с пятью рожками, привешенный к своду на цепях, бросал колеблющийся свет на сырые стены этой лишенной дневного света пещеры. Между двумя шпалерами солдат-мулатов я рассмотрел темнокожего человека, сидевшего на огромном стволе красного дерева, лишь наполовину прикрытого ковром из перьев попугая. Человек этот принадлежал к роду сакатрасов, отличающемуся от негров лишь небольшим оттенком в цвете кожи, часто совершенно незаметным. На нем красовался великолепный пояс из плетеного шелка; пояс этот придерживал по середине живота короткие панталоны из синего грубого холста; одеяние это довершалось курткой из белого канифаса, такой короткой, что она не доходила до пояса. На ногах у него были серые сапоги, на голове круглая шляпа, украшенная красной кокардой, а на плечах эполеты, из которых один был золотой с двумя серебряными генерал-майорскими звездочками, а другой—из желтой шерсти. Подле него на ковре из перьев лежали сабля и пистолеты с богатой насечкой.



Внутренность пещеры была скрыта огромной кашеми-
ровой занавесью...

Позади него молча и неподвижно стояли двое детей, одетых в невольничьи панталоны; каждый из них держал большой веер из павлиньих перьев. Эти дети-невольники были белые.

Направо и налево от красного деревянного чурбана лежали две бархатные подушки ярко-малинового цвета, вероятно, взятые с какого-нибудь церковного аналая; на одной из них,

справа, восседал тот колдун, который вырвал меня из рук старых фурий. Он сидел, поджав под себя ноги, держа перед собой свою палку, неподвижный как фарфоровый идол в китайской пагоде. Только глаза его сверкали сквозь дырки его покрывала, и он не отрывал от меня своего пылающего взора.

По обе стороны вождя красовались связки знамен, коругвей и значков всевозможных сортов, между которыми я различил белое знамя с изображением лилий, трехцветное знамя и знамя Испании. Остальные были фантастические флаги посреди их красовалось черное знамя.

Вождь Падасакатра, к которому меня привели, был среднего роста. Его физиономия представляла собою редкую смесь лукавства и жестокости. Он подозвал меня к себе и некоторое время молча на меня смотрел; наконец он засмеялся.

— Я — Биассу, — сказал он мне.

Я ожидал услышать это имя, но, когда оно было произнесено этими устами, среди этого хищного смеха, я не мог не содрогнуться внутренно. Но я не отвечал ни слова.

— Ну, что же, — продолжал он довольно ломаным французским языком, — разве тебя посадили уже на кол, что ты не можешь согнуть спинной хребет в присутствии Жана Биассу, генералиссимуса покоренных стран.

Я скрестил на груди руки и пристально взглянул на него. Он начал опять смеяться.

— О! О! Должно быть, ты храбрый малый! Ну, так выслушай меня. Ты креол?

— Нет, — отвечал я, — я — француз.

Он продолжал, усмехаясь:

— Тем лучше! По твоему мундиру я вижу, что ты офицер. Сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Когда минуло тебе двадцать лет?

При этом вопросе, пробудившем во мне такие скорбные воспоминания, я погрузился на мгновение в задумчивость. Он с живостью повторил вопрос. Я отвечал:

— В тот день, как повесили твоего товарища Леогри.

Черты его исказились злобой, и он опять усмехнулся. Однакож он сдержал себя.

— Леогри повесили двадцать три дня тому назад, — сказал он. — Сегодня вечером ты передашь ему от моего



Между двумя шпалерами солдат-мулатов я разглядел темнокожего человека, принадлежавшего к роду сакатрасов.

имени, француз, что ты пережил его на двадцать четыре дня. Я хочу оставить тебя в живых еще на один день для того, чтобы ты мог рассказать ему, в каком положении находится дело освобождения его братьев, что ты видел

в главной квартире Жана Биассу, генерал-майора, и какова власть этого генералиссимуса над королевским войском.

Затем он приказал, чтобы меня посадили между двумя конвойными в углу пещеры, и, сделав знак рукой несколько неграм, наряженным в адъютантскую форму, сказал:

— Пусть бьют сбор, пусть вся армия выстроится вокруг нашей главной квартиры, чтобы мы могли произвести ей смотр. А вы, господин капелан, — добавил он, обращаясь к колдуну, — облачитесь в свои священнические одежды и отслужите нам и нашим солдатам обедню.

Колдун встал, низко склонился перед Биассу и сказал ему на ухо несколько слов, которые вождь прервал резким и громким голосом:

— Вы говорите, что у вас нет алтаря, сеньор священник? Что же в этом странного, раз мы находимся среди таких гор! Но не все ли равно! С каких пор господь бог нуждается в роскошном храме, в алтаре, украшенном золотом и кружевами? У вас нет алтаря! Да разве нельзя устроить его из большого сахарного ящика, взятого третьего дня королевскими солдатами из жилища Дебюиссона?

Предложение Биассу было немедленно приведено в исполнение. Были принесены дарохранительница и дароносица, взятые из Акульского храма. Из сахарного ящика соорудили алтарь, прикрыв его белой простыней, что не мешало читать на боковых стенках этого алтаря „Дебюиссон и К^о в Нанте“.

Когда священные сосуды были поставлены на простыне, колдун заметил, что недостает креста; тогда он вынул из-за пояса свой кинжал с крестообразной рукояткой и воткнул его в ящик. Потом, не снимая своего колпака и покрывала, он быстро накиннул на спину и на голую грудь ризу акульского настоятеля, развернул подле дарохранительницы требник с серебряной застежкой, по которому читались молитвы при моем роковом бракосочетании, и, обернувшись к Биассу, трон которого находился в нескольких шагах от алтаря, отвесил глубокий поклон, давая этим понять, что он готов.

По знаку вождя кашемировая занавеска была сейчас же отдернута, и мы увидали всю черную армию, выстроенную



На одной из бархатных подушек восседал тот колдун, который вырвал меня из рук старых фурий.

тесным квадратом перед пещерой. Биассу снял свою круглую шляпу и опустился на колени перед алтарем.

— На колени! — крикнул он громким голосом.

— На колени! — повторили командиры всех батальонов. Раздался барабанный бой. Все негры опустились на колени.

Здоровенные мулаты, сторожившие меня, выдернули из-под меня сиденье, грубо толкнули меня за плечи, и я упал на колени, как и другие.

Колдун начал важно служить обедню. Маленькие белые пажи Биассу исполняли обязанности диакона и дьячка.

Толпа мятежников, коленопреклоненная, присутствовала при этой церемонии с благоговением, первый пример которого подавал генералиссимус. В минуту причащения колдун вскричал на креольском жаргоне:

— Вы все знаете господа бога. Белые убили его; убейте всех белых!

При этих словах, произнесенных громким, как-будто бы уже когда-то слышанным мною голосом, вся шайка испустила грозный крик; негры потрясали своим оружием, и понадобилось покровительство самого Биассу для того, чтобы этот зловещий ляг не ознаменовал моего последнего часа.

XXVI

Окончив службу, колдун обернулся к Биассу с почтительным поклоном.

Вождь приказал принести стеклянный сосуд, полный черных маисовых зерен, и высыпал туда несколько зерен белого маиса; подняв затем сосуд над своей головой так, чтобы он был виден всему войску, он сказал:

— Братья, вы — черный маис, а белые, ваши враги, это — маис белый!

С этими словами он встряхнул сосуд; когда почти все белые зерна исчезли под черными, он вскричал вдохновенно и торжествующе:

— Видите, что такое белые по сравнению с вами.

Притчу вождя приветствовали новые клики, повторенные всеми горными эхо. Биассу продолжал, часто перемешивая свой ломаный французский язык с креольскими и испанскими фразами:

— Времена покорности миновали. Мы были терпеливы, как бараны, с шерстью которых белые сравнивают наши волосы; будем теперь неумолимы, как пантеры и ягуары тех

стран, откуда они вырвали нас. Права можно приобрести только с помощью одной силы: все принадлежит тому, кто силен и безжалостен. Они пришли, они пришли, враги возрождения человечества, эти белые, эти колонисты, плантаторы, торгошники, исчадия ада! Они пришли во всеоружии дерзости; эти гордецы были увешаны оружием, султанами, на них были великолепные одежды, и они презирали нас за то, что мы черны и ходим наги. В своей гордости они полагали, что могут рассеять нас так же легко, как эти павлиньи перья разгоняют черные стаи москитов и комаров.

При этом он вырвал из рук белого невольника один из вееров, которые те носили за ним, и стал размахивать им над головой, неистово жестикулируя. Потом он снова заговорил:

— Но, братья, наше войско ринулось на них, как вороны на трупы; они пали, облеченные в свои нарядные мундиры, под ударами этих черных рук, которые они считали бессильными, не ведая, что хорошее дерево бывает крепче, когда с него содрана кора. Теперь эти ненавистные тираны дрожат! Они трусили!

В ответ на этот возглас вождя раздался вопль радости и торжества, и все собрание многократно повторило:

— Они трусили!

— Слушайте, креолы и мулаты, — добавил Биассу, — мщение и свобода! Не поддавайтесь чарам белых чертей! Ваши отцы находятся в их рядах, но ваши матери — в наших. К тому же, о, братья души моей, они никогда не обращались с вами как отцы, но как повелители; вы были рабами наравне с неграми. Тогда как ваше сожженное солнцем тело едва прикрывал дрянной передник, не защищавший вас от жгучих солнечных лучей, ваши варвары-отцы важно расхаживали в широкополых сомбреро, одетые в нанковые куртки в рабочие дни, а по праздникам в шелковые или бархатные одежды. Прокляните этих бесчувственных людей! Мщение, королевские воины! Свобода для всех! Клик этот будит эхо по всем островам; раздавшись впервые на Сан-Доминго, он разбудит Табаю и Кубу. Наше знамя было поднято вождем ста двадцати пяти негров-марронов Синей Горы, ямайским негром Букманом. Его первым братским

делом была победа. Последуем же его славному примеру с факелом в одной руке, с топором в другой! Да не будет пощады белым плантаторам. Вырежем их семьи, опустошим их плантации; не оставим в их владениях ни единого дерева, не вывороченного корнями вверх. Перевернем все на земле так, чтобы она поглотила белых! Мужайтесь же, друзья и братья! Скоро мы станем сражаться и истреблять. Мы победим или умрем. Если мы будем победителями, то станем в свою очередь наслаждаться всеми радостями жизни; если же умрем, то пойдем на небо, где всякий храбрец будет получать по двойной порции водки и по пиастру в день.

Эта солдатская проповедь, которая вам, вероятно, кажется смешною, произвела на мятежников поразительное действие. По правде говоря, необыкновенная пантомима Биассу, вдохновенный тон его голоса, странная усмешка, прерывавшая порой его слова, придавали его речи какую-то непонятную силу обаяния и очарования. Искусство, с которым он перемешивал свою декламацию подробностями, созданными для того, чтобы льстить страстям толпы, придавало еще более силы этому красноречию.

А потому я и не пытаюсь описать вам мрачный энтузиазм, обнаруженный армией инсургентов после обращения Биассу. То был нестройный концерт криков, воплей, стонов. Одни ударяли себя в грудь, другие стучали палицами и саблями. Иные, стоя на коленях или распростершись ниц, так и замерли в состоянии экстаза. Негритянки раздирали себе груди и руки рыбьими костями, служившими им гребенками для расчесывания волос. К ружейным залпам примешивались звуки гитар, там-тамов, барабанов и балафо.

Биассу сделал рукой жест; шум прекратился, точно по волшебству, и каждый негр вернулся молча на свое место.

Эта дисциплина, к которой Биассу приучил равных себе лишь властью своей мысли и воли, поразила меня и привела в восхищение. Все солдаты мятежного войска послушно двигались по мановению руки вождя, подобно клавишам клавессин под пальцами музыканта.

XXVII

Вскоре внимание мое было привлечено другим зрелищем: перевязкой раненых. Колдун, исполнявший в армии двойную должность — врача духовного и врача телесного, приступил к осмотру больных. Он снял церковные одежды и приказал поставить подле себя большой ящик с перегородками, в котором хранились его снадобья и инструменты. Прибегал он к хирургическим инструментам весьма редко, за исключением ланцета из рыбьей кости, которым он очень ловко пускал кровь. В большинстве случаев он ограничивался предписанием отвара из лесного апельсина, питья из оспенного корня или сассапарели или нескольких глотков старой сахарной водки. Его любимым и, по его словам, превосходнейшим лекарством было питье, приготовленное из трех стаканов красного вина, к которому он примешивал порошок мускатного ореха и яичный желток, испеченные под золой. Он употреблял это специфическое средство против всяких ран и болезней. Вы легко поймете, что лекарство это было так же смешно, как и отправляемое им богослужение; по всем вероятностям, малого числа случайных исцелений не было бы достаточно для поддержания доверия среди негров, если бы он не присоединял к своим снадобьям различных фокусов и если бы он не старался тем сильнее действовать на воображение негров, чем он менее исцелял их недуги. Так, иногда он ограничивался лишь прикосновением к их ранам, при чем делал какие-то мистические знаки; порой, ловко пользуясь остатком старинных суеверий, он вкладывал в раны маленький камешек-фетиш, обернутый в корпию, и больной приписывал камешку благодетельное действие корпии. Если ему объявляли, что какой-нибудь раненый, которого он лечил, умер от своей раны, а может быть, и от его перевязки, он отвечал торжественно:

— Я это предвидел: он был изменник; при пожаре дома он спас одного белого. Его смерть есть кара небесная!

Изумленная толпа мятежников рукоплескала, все более и более проникаясь чувством ненависти и мщенья. Между прочим, шарлатан этот употреблял одно средство исцеления,

которое поразило меня: он долго осматривал рану, перевязал ее как мог лучше, а потом, поднявшись на алтарь, сказал:

— Все это пустяки.

Затем он вырвал из требника три или четыре листка, сжег их на пламени свечей и, всыпав немного пепла этой священной бумаги в несколько капель вина из чаши, сказал раненому

— Выпей: это тебя исцелит.

Тот выпил, не сводя полных доверия глаз с фокусника-который воздевал над ним руки, как бы призывая благословение неба, и, быть может, уверенность раненого в исцелении способствовала тому, что он потом выздоровел.

XXVIII

В эту минуту появился адъютант, ведя за собой негра, покрытого грязью и пылью, ноги которого, исцарапанные тернием и камнями, доказывали, что он совершил длинный путь. Это был посланец. В одной руке он держал запечатанный пакет, а в другой—развернутый пергамент с печатью, изображавшей пылающее сердце. Посреди красовался вензель, составленный из характерных переплетшихся букв М и Н, вероятно, означавших союз свободных мулатов и рабов-негров.

Лазутчик, поклонившись до земли Биассу, передал ему запечатанный пакет. Генералиссимус быстро вскрыл его, пробежал заключавшиеся в нем депеши, сунул одну из них в карман своей куртки и, скомкав другую в руке, вскричал с огорченным видом:

— Солдаты!

Негры отвесили глубокий поклон.

— Солдаты! Вот что сообщает Жану Биассу, генералиссимусу восставшей страны, Жан-Франсуа, генерал-адмирал Франции: „Букман, вождь ста двадцати негров Синей Горы, что на Ямайке, признанных независимыми генерал-губернатором Бель-Комба, пал в славной борьбе за свободу и гуманность против деспотизма и варварства. Великодушный вождь был убит в схватке с белыми разбойниками гнусного Тузара-

Изверги отрубили ему голову и объявили, что выставят ее позорно на эшафоте в их городе Капе. Мщение!

После этого чтения в войске на минуту наступило мрачное молчание.

Но скоро мятежники, над которыми Биассу приобрел еще большую власть с той минуты, как смерть Букмана стала известной, перешли от уныния к энтузиазму и, слепо доверяясь своему судьбой предназначенному вождю, кричали теперь наперерыв.

— Да здравствует Биассу! Да здравствует Биассу!

Вождь вновь уселся на своем кресле красного дерева, колдун поместился по правую его руку, генерал Риго по левую, оба на подушках. Скрестив руки на груди, колдун казался погруженным в глубокое созерцание; Биассу и Риго жевали табак; один из адъютантов только-что спросил у вождя, надо ли провести перед ним войско церемониальным маршем, как вдруг у входа в пещеру появились с шумом и бешеными воплями толпы негров; каждая из этих кучек привела с собой пленника, которого желала передать в руки Биассу. Раздавались зловещие крики:

— Смерть! Смерть! Muerte! Muerte! Death! Death! — воскликнули несколько английских негров, вероятно, из отряда Букмана, уже успевших присоединиться к испанским и французским неграм Биассу.

Биассу движением руки приказал им замолчать и велел подвести пленников к выходу в пещеру. К своему удивлению я узнал двух из них; один был тот гражданин-генерал С., который в свое время внес столь жестокое предложение на совете у губернатора. Другой был подозрительный плантатор, который чувствовал такое отвращение к мулатам.

Биассу внимательно рассматривал их обоих и, желая prolongить пытку, принялся разговаривать с Риго на тему о различных сортах табаку, утверждая, что гаваннский табак приятно курить только в сигарах и что он не знает лучшего нюхательного табаку, чем испанский табак, какой покойный Букман прислал ему два боченка, отнятых у господина Леботтю, владельца острова Черепахи. И, обращаясь внезапно к С., он спросил:

— А ты как думаешь?

При этом неожиданном обращении гражданин-генерал пошатнулся и отвечал, заикаясь:

— Я полагаюсь, генерал, на мнение вашего превосходительства.

— Льстивые речи!— возразил Биассу.— Я спрашиваю о твоём мнении. Можешь ли ты указать лучший нюхательный табак, чем табак господина Леботту?

— Нет, не могу, милостивый государь,— сказал С., смущение которого потешало Биассу.

— Генерал! Превосходительство! Милостивый государь!— повторил вождь с нетерпеливым видом.— Ты просто аристократ.

— Ах, вот уж нет!— вскричал гражданин-генерал.— Я добрый патриот 91-го года и страстный негрофил.

— Негрофил?— прервал генералиссимус.— Что это такое негрофил?

— Это друг чернокожих,— пробормотал гражданин.

— Быть другом чернокожих еще недостаточно,— строго возразил Биассу,— нужно быть также другом всех цветных.

— Я именно это и подразумевал,— отвечал смиренно негрофил.— Я состою в дружбе со всеми самыми знаменитыми сторонниками негров и мулатов.

Биассу снова прервал его.

— Негров и мулатов? Что это значит? Или ты явился сюда только для того, чтобы оскорблять нас этими гнусными кличками, изобретенными презрением белолицых? Здесь имеются темнокожие и чернокожие, слышите, господин колониист?

— Это просто дурная привычка, усвоенная с детства,— сказал С.— Простите, я нимало не имел намерения оскорблять вас, сеньор.

— Перестань так называть меня; повторяю, что я не люблю этих аристократических замашек.

Несчастный негрофил не знал больше, каким тоном говорить с этим человеком... Он был подавлен. Биассу, только притворявшийся рассерженным, испытывал жестокое наслаждение при виде его смущения.

— Увы! — сказал наконец С., — какого вы дурного мнения обо мне, благородный защитник неотъемлемых прав целой половины рода человеческого.

Биассу пристально взглянул на него и сказал:

— Значит, ты любишь чернокожих и метисов?

— Люблю ли я их! — вскричал гражданин С. — Да я переписываюсь с Бриссо и...

Биассу прервал его с усмешкой:

— А-а! Очень рад видеть в тебе сторонника нашего дела. В таком случае ты, должно быть, ненавидишь тех подлых колонистов, которые карали наше справедливое восстание самыми жестокими казнями; ты, разумеется, думаешь, как и мы, что настоящие мятежники — это белые, а не чернокожие, так как они восстают против природы и человечества, и, разумеется, ты проклинаешь этих извергов!

— Я их проклинаяю! — отвечал С.

— Хорошо! — продолжал Биассу. — Что же ты думаешь тогда о человеке, который, стремясь подавить последние попытки невольников, выставил на кольях пятьдесят голов чернокожих по обеим сторонам аллеи, ведущей к его жилищу?

С. страшно побледнел.

— Что ты думаешь о том белом, который предложил опоясать город Кап рядом невольничьих голов?..

— Пощадите! Пощадите! — сказал С. в ужасе.

— Разве я тебе угрожаю? — продолжал холодно Биассу. — Дай мне договорить... Рядом голов, который шел бы вокруг всего города, от форта Пиколе до мыса Караколь? Что бы ты об этом подумал? Отвечай!

Слова Биассу „Разве я тебе угрожаю?“ возвратили С. некоторую надежду; он подумал, что, может быть, вождь узнал об этих ужасах, не зная, кто их виновник, и отвечал с некоторой твердостью.

— Я думаю, что это тяжкие преступления.

Биассу усмехнулся.

— Ладно! А какому наказанию подверг бы ты виновного? Здесь несчастный С. запнулся.

— Ну, что же? — снова заговорил Биассу. — Ты друг чернокожих или нет?

Из двух зол С. выбрал наименее опасное для себя и, не замечая никакой враждебности к себе во взоре Биассу, проговорил слабым голосом:

— Виновный достоин смерти.

— Прекрасный ответ, — сказал спокойно Биассу, выплевывая табак, который он жевал.

Между тем его равнодушный вид вернул немного уверенности бедному негрофилу, и он сделал попытку устранить все те подозрения, которые могли тяготеть над ним.

— Никто, — вскричал он, — не желал пламеннее меня вашего торжества. Я переписываюсь с Бриссо и Прюно де Помм-Руж во Франции, Магау в Америке, Петером Паулусом в Голландии, Аббатом Тамбурины в Италии...

И он перечислял с наслаждением этот список филантропов, который он всегда охотно приводил, как это было при других обстоятельствах и с другою целью у господина Бланшланда, но Биассу остановил его:

— Ну, что мне за дело до всех твоих корреспондентов? Укажи мне только, где твои магазины и склады; мое войско нуждается в провианте. Ты должен обладать богатыми плантациями и крупной торговлей, раз ты переписываешься со всеми негодьями мира.

Гражданин С. позволил себе робкое замечание:

— Герои человечества — это не негодья, а философы, филантропы, негрофилы.

— Ну, вот, — сказал Биассу, качая головой, — опять он заговорил непонятные чертовские слова. Послушай, если у тебя нет ни складов, ни магазинов, то на что же ты годеи?

Вопрос этот подавал луч надежды, за который и ухватился с жадностью С.

— Преславный полководец, — отвечал он, — имеется ли в вашей армии экономист?

— Это еще что такое? — спросил вождь.

— Это, — сказал пленник со всей напыщенностью, на какую он был способен в своем страхе, — это необходимый человек, единственный оценщик материальных средств государства, судящий о них по их взаимной ценности; он заносит их по порядку, согласно из значению,

распределяет по их стоимости, улучшает их, согласуя их источники и их результаты, и вливает их по мере надобности, как оплодотворяющие источники, в великую реку общей пользы, которая в свою очередь расширяет море общественного благосостояния.

— Чорт возьми! — сказал Биассу, наклоняясь к колдуну. — Что он хочет сказать этими словами, нанизанными друг на друга словно бусы твоих четок?

Колдун пожал плечами в знак неведения и презрения. Между тем гражданин С. продолжал:

— Соболаговолите выслушать меня, отважный вождь храбрых возродителей Сан-Доминго! Я изучал великих экономистов Тюрго, Рэналя и Мирабо, друга человечества. Я применял их теорию на практике. Мне знакома наука, необходимая для управления государствами и штатами.

— Экономист не экономен в речах! — сказал Риго со своей мягкой и насмешливой улыбкой.

Биассу вскричал:

— Скажи-ка мне, болтун, разве я имею королевства и штаты, которыми надо управлять?

— Пока еще нет, великий человек, — возразил С., — но это может случиться; но, впрочем, моя наука снисходит, ничуть не считая это предосудительным, до подробностей, полезных для управления армией.

Генералиссимус опять прервал его внезапно:

— Я не управляю своей армией, господин плантатор, я ею командую.

— Прекрасно, — заметил гражданин, — вы будете предводителем, а я интендантом. Я обладаю специальными познаниями по части скотоводства.

— Разве ты воображаешь, что мы занимаемся скотоводством? — сказал с усмешкой Биассу. — Скот идет нам на пищу. Когда истощится скот французской колонии, я переберусь за пограничные горы и возьму испанских быков и баранов, что пасутся на больших равнинах Котюи, Веги, Сант-Яго и на берегах Юны; если понадобится, я доберусь и до тех, что пасутся на Саманском полуострове и на склонах Цибосской горы, начиная от устья Нэба и за Сан-Доминго. Впрочем, мне будет приятно наказать этих прокля-

тых испанских плантаторов, потому что они выдали Ожэ! Ты видишь, что я не терплю недостатка в провианте и что я совсем не нуждаюсь в твоей науке, по твоему мнению необходимейшей.

Это энергичное заявление сбило с толку бедного экономиста; тем не менее он попытался ухватиться за последний якорь спасения:

— Мои труды не ограничились изучением скотоводства. Я обладаю другими специальными познаниями, могущими оказаться весьма полезными. Я укажу вам, как надо разрабатывать каменноугольные копи.

— А на что мне это?—сказал Биассу.—Когда мне нужен уголь, я сжигаю три мили леса.

— Я научу вас, на какое употребление годны различные сорта дерева,—и С. принялся перечислять нескончаемые названия сортов и их назначение.

— Чтоб взяли тебя черти всех семнадцати адов!—вскричал по-испански потерявший терпение Биассу.

— Что прикажете, милостивый хозяин?—сказал, весь дрожа, экономист, не понимавший по-испански.

— Послушай,— снова заговорил Биассу,—кораблей мне не надо, незачем мне их строить. Ну, а в свите моей имеется всегда одно вакантное место, место камердинера. Подумай, сеньор философ, годится ли оно тебе. Ты станешь прислуживать мне на коленях, подавать трубку, рагу и суп из черепахи; а еще ты станешь носить за мной веер из павлиньих перьев или из перьев попугая, как вот эти два пажа. Гм! Отвечай, хочешь быть моим камердинером?

Гражданин С., не думавший ни о чем, кроме спасения своей жизни, склонился до земли, расточая изъявление радости и благодарности.

— Значит, ты согласен?—спросил Биассу.

— Можете ли вы предполагать, мой великодушный повелитель, чтобы я стал колебаться хоть минуту, когда дело идет о высокой чести прислуживать вашей особе?

При этом ответе Биассу разразился смехом. Он скрестил руки, встал с торжествующим видом и, оттолкнув ногою голову белого, распростертого перед ним, вскричал громким голосом:

— Я был очень рад возможности испытать, до чего может дойти низость белолицых, уже наглядевшись, до чего может дойти их жестокость! Гражданин С., тебе обязан я этим двойным примером. Я знаю тебя! Как мог ты быть настолько глупым, чтобы не заметить этого? Июньскими, июльскими и августовскими смертными казнями распорядился ты; пятьдесят голов чернокожих были посажены на кол тобою взамен пальм по обе стороны аллеи, ведущей к твоему жилищу; точно так же ты хотел перерезать остальных пятьсот негров-колодников, оставшихся в твоей власти после восстания, и опоясать город Кап невольничьими головами от форта Пиколе до мыса Караколь. Если бы ты мог, ты сделал бы трофей из моей головы; а теперь ты считаешь счастьем для себя, чтобы я согласился взять тебя в камердинеры. Нет! Нет! Я больше забочусь о твоей чести, чем ты сам; я не нанесу тебе этого оскорбления. Готовься к смерти.

По его знаку негры положили рядом со мной бедного негрофила, который, как подкошенный, без слов упал к ногам Биассу.

XXIX

Теперь очередь за тобой! — сказал вождь, обращаясь к второму пленнику, тому, что так боялся метисов.

Ответ колониста был заглушен всеобщим воплем мятежников.

— Muerte! Muerte! Смерть! Death! Тоууэ! Тоууэ! — кричали они, скрежеща зубами и грозя кулаками несчастному пленнику.

— Генерал, — сказал один из мулатов, выразившийся яснее других, — это белолицый; он должен умереть!

С помощью усиленных жестов и криков бедному плантатору удалось наконец произнести несколько слов.

— Нет, нет, господин генерал! Нет, братья мои, я вовсе не белолицый! Это гнусная клевета! Я мулат, как и вы, сын негритянки, как ваши матери и сестры!

— Он лжет! — говорили взбешенные негры. — Он из белых. Он всегда ненавидел чернокожих и мулатов.

— Никогда, — уверял пленник. — Я ненавижу белолицых. Я один из ваших братьев. Я всегда говорил вместе с вами: Негры — повелители, а белолицые — рабы.

— Нет! Нет! — кричала толпа. — Убейте белолицего, убейте белолицего!

Несчастный продолжал жалобно:

— Я мулат! Я один из ваших!

— Где доказательство? — сказал холодно Биассу.

— Доказательство, — отвечал тот вне себя от страха, — в том, что белые всегда меня презирали.

— Это, может быть, и правда, — возразил Биассу, — но ты дерзкий человек.

Какой-то молодой мулат с живостью обратился к колонисту:

— Белолицые презирали тебя, это верно; но зато ты выказывал явное презрение к мулатам, к которым они тебя причисляли. Я слышал даже, что ты как-то раз вызвал на дуэль одного белого, который упрекнул тебя в принадлежности к нашей касте.

В негодующей толпе послышался общий ропот, и еще более громкие требования его смерти покрыли оправдания колониста, который, бросая на меня искоса взгляд, полный разочарования и мольбы, повторял, плача:

— Это клевета. Для меня нет иной чести и иного счастья, как принадлежать к чернокожим. Я — мулат.

— Если бы ты был действительно мулат, — заметил спокойно Риго, — ты не употреблял бы этого слова.

— Увы! Знаю ли я толком, что я говорю? — продолжал колонист. — Господин предводитель, взгляните на этот черный круг на моих ногтях — доказательство смешанной моей крови.

Биассу оттолкнул эту умоляющую руку.

— Ты утверждаешь, — сказал он, — что принадлежишь к нашей касте и что никогда не отрекался от нее. У тебя в руках есть средство доказать свои слова и спасти себя.

— Какое, генерал, какое? — спросил с поспешностью колонист. — Я готов.

— Вот оно, — сказал холодно Биассу. — Возьми этот кинжал и заколи им сам этих двух белых пленных.

Говоря это, он указывал на нас глазами и рукой. Колонист отступил в ужасе перед кинжалом, который Биассу протягивал ему с адской улыбкой.



Колонист с силой раздвинул удерживавшие его руки и вонзил свой кинжал в гражданина С.

— Ну, что же,—сказал вождь,—ты колеблешься? Однакоже это—единственное средство доказать как мне, так и моей армии, что ты не белый и что ты из наших.

Глаза пленника блуждали с выражением страха. Он сделал шаг к кинжалу, потом опустил руки и остановился, поникнув головой. Все тело его тряслось, как в лихорадке.

— Ну же!—вскричал Биассу тоном нетерпения и гнева.— Я тороплюсь. Выбирай: или убей их сам, или ты умрешь вместе с ними.

Колонист стоял неподвижно, точно окаменелый.
— Прекрасно!—сказал Биассу, оборачиваясь к неграм.—
Раз он не хочет быть палачом, он будет сам казнен. Я вижу,
что это белый; уведите его.

Негры приготовились схватить колониста. Это движение решило его выбор между убийством другого и собственной смертью. Крайняя низость имеет также свое мужество. Он бросился на кинжал, который подавал ему Биассу, и, не давая себе времени на размышление, негодяй этот ринулся, как тигр, на гражданина С., лежавшего подле меня.

Тогда завязалась ужасная борьба. Негрофила развязка мучительного допроса Биассу повергла в мрачное, тупое отчаяние; хотя он и смотрел пристально на сцену между вождем и темнокожим плантатором, но был до того поглощен страхом предстоявшей ему казни, что, казалось, не понимал смысла этой сцены; но когда он увидел ринувшегося на него колониста, когда кинжал сверкнул над его головой, неизбежность опасности внезапно пробудила его. Он вскочил на ноги и остановил руку убийцы, воскликнув жалобным голосом:

— Пощадите! Пощадите! Чего вы хотите от меня? Что я вам сделал?

— Вы должны умереть, сударь,—отвечал тот, стараясь высвободить руку и останавливая на своей жертве растерянный взор.—Дайте мне действовать свободно, я не причиню вам боли.

— Умереть от вашей руки,—проговорил экономист,—но почему же? Пощадите меня! Быть может, вы злы на меня за то, что я сказал когда-то, что вы темнокожий! Но оставьте мне жизнь, и я уверяю вас, что признаю вас белым. Да, вы белый, я всюду это объявлю, но пощадите меня!

Негрофил ошибся в выборе средства самозащиты.

— Молчи! Молчи!—вскричал в бешенстве темнокожий, страшась, как бы негры не услышали этого заявления.

Но тот, не слушая его, орал во всю глотку, что он белый и даже из хорошего рода. Колонист прибег к последнему средству заставить его молчать—с силой раздвинул удерживавшие его руки и вонзил свой кинжал в одежду гражданина С. Несчастный почувствовал прикосновение кон-

чика кинжала и вцепился с яростью зубами в руку, вонзавшую в него кинжал.

— Изверг! Негодяй! Ты убиваешь меня!

Он бросил взгляд на Биассу.

— Защитите меня, мститель за человечество.

Но убийца сильно надавил на кинжал, и струя крови брызнула ему в лицо. Колени несчастного негрофила внезапно подогнулись, руки упали, как плети, глаза потухли, из уст вырвался глухой стон. И он упал мертвый.

Эта сцена, в которой я тоже ожидал сыграть свою роль, привела меня в оцепенение. „Мститель за человечество“ глядел, не сморгнув, на борьбу. Когда все было кончено, он обратился к своим перепуганным пажам.

— Принесите мне еще табаку, — сказал он и принялся снова спокойно жевать его.

Теперь наступила моя очередь. Я взглянул на убийцу, которому предстояло стать моим палачом. И мне стало его жаль. Губы его посинели, зубы стучали, он пошатывался от конвульсивной дрожи всего тела, а рука его то-и-дело поднималась машинально ко лбу, как бы для того, чтобы отереть с него кровавые следы.

Я ждал той минуты, когда он довершит моей смертью заданную ему задачу.

— Ну, хорошо, — сказал Биассу, — я доволен тобой, друг! — Взглянув мельком на меня, он добавил: — Другого я тебе позволяю не убивать. Иди себе. Мы объявляем тебя добрым негром и назначаем тебя палачом при нашей армии.

XXX

Тем временем наступил час завтрака Биассу. Перед вождем поставили большой черепаший щит, в котором дымилась какая-то olla podrida, щедро приправленная ломтями сала, где черепашьё мясо заменяло мясо ягненка, а пататы — турецкий горох. Огромный кочан караибской капусты плавал поверх этой смеси. По обе стороны черепашьёго щита служившего одновременно и котлом и миской, стояли два сосуда из кокосовой коры, наполненные изюмом, арбузами

и смоквами; это был десерт. Маисовый хлеб и козий мех, наполненный вином, довершали сервировку трапезы. Биассу вынул из кармана несколько головок чеснока и сам натер им хлеб; а потом стал есть, предложив Риго разделить с ним завтрак. В аппетите Биассу было что-то страшное.

Колдун не участвовал в трапезе. Я понял, что, как все ему подобные, он никогда не ел при людях, для того чтобы внушить неграм, что он—существо сверхъестественное и существует без пищи.

Продолжая завтракать, Биассу приказал одному из адъютантов приступить к смотру, и негры стали проходить в строгом порядке перед пещерой. Воины Красной Горы прошли первыми; их было около четырех тысяч, разделенных на взводы, предводительствуемые начальниками в коротких штанах с красными поясами. У негров, которые были почти все высоки ростом и сильны, имелись ружья, топоры и сабли; многие из них были вооружены луками, стрелами и кинжалами, которые они выковали для себя сами за недостатком другого оружия.

XXXI

Смотр продолжался. Войско было необычайно. То проходили совершенно обнаженные негры, вооруженные палицами, томагавками, кастетами, маршировавшие под звуки рожка, как дикари; то проходили батальоны мулатов, одетые по-испански или по-английски, хорошо вооруженные и дисциплинированные, мерно маршировавшие под барабанный бой; или появлялись толпы негритянок и маленьких негров, вооруженных вилами и веретенами; шли старые, негодные к службе негры, согнувшись под старыми ружьями без курков и без дула; шли гриоты в своих пестрых украшениях, гримасничая и кривляясь, напевая непонятные песни под звук гитары, там-тама или балафо. Эта странная процессия порой прерывалась сбродными отрядами различных темнокожих рас—мараби, сакатра, квартеронов, маменюков, свободных мулатов—или отрядом беглых негров с гордой осанкой, с блестящими карабинами, тащившими за собой нагруженные тачки или

отнятую у белых пушку, служившую им менее орудием, чем трофеем, и горланивших, что было мочи, гимны лагеря. Над всеми этими головами развевались знамена всех цветов с разными девизами—белые, красные, трехцветные, украшенные лилиями или увенчанные фригийским колпачком, с разными надписями: „Смерть священникам и аристократам!“ „Свобода!“ „Равенство!“ „Долой метрополию!“ „Нет более тиранов!“ и т. д.

Проходя по очереди перед пещерой, отряды склоняли свои знамена, и Биассу отвечал на поклоны. Он обращался к каждому отряду с каким-нибудь выговором или с похвалой; и всякое слово, падавшее из его уст, строгое или лестное, принималось его людьми с фанатическим почтением и с каким-то суеверным страхом.

Наконец весь поток негров прошел. Между тем день склонялся к вечеру, и в ту минуту, как проходили последние ряды, солнце кидало уже только медно-красный отблеск на гранитную вершущу восточных гор.

XXXII

Биассу казался задумчивым, когда смотр был кончен, и он отдал свои последние приказания; а когда все мятежники вернулись в свои землянки, он обратился ко мне.

— Молодой человек, — сказал он мне, — ты успел убедиться в моем гении и в моем могуществе. Теперь наступил для тебя час дать в этом отчет всевышнему.

— Не моя вина в том, что час этот не наступил раньше, — отвечал я ему холодно.

— Ты прав, — возразил Биассу. Он приостановился на минуту, как бы читая на моем лице дальнейшие слова, и добавил:—Но от тебя одного зависит, чтобы он не наступил вовсе.

— Как? — вскричал я, удивленный. — Что ты хочешь сказать?

— Да, — продолжал Биассу, — жизнь твоя зависит от тебя; ты можешь спасти ее, если захочешь.

Этот порыв милосердия, первый и, вероятно, последний, проявленный когда-либо Биассу, показался мне чудом. Кол-

дун, удивленный, как и я, сорвался с кресла, на котором он пребывал в неизменной позе индийских факиров. Он встал перед генералиссимусом и гневно возвысил голос:

— Что говорит преславнейший сеньор генерал-майор? Помнит ли он то, что он мне обещал? Он уже не может, как не может и сам господь бог, располагать этой жизнью; она принадлежит мне.

Когда я услышал этот озлобленный голос, мне опять показалось, что я встречал раньше этого проклятого карлика.

Биассу встал, не волнуясь, поговорил с минутой шопотом с чародеем, указал ему на черное знамя, уже замеченное мною, и обменялся с ним несколькими словами; колдун кивнул головой в знак согласия. И тогда оба вновь уселись на свои места и приняли прежние позы.

— Слушай, — сказал мне генералиссимус, вынимая из кармана своей куртки вторую депешу Жана-Франсуа, спрятанную им:—дела наши идут плохо. Букман погиб в сражении. Белые истребили две тысячи восставших в одной провинции негров, колонисты продолжают укрепляться и покрывать равнину военными постами; мы по своей вине прозевали возможность взять Кап; она долго не представится вновь. С восточной стороны главная дорога пересекается рекой; желая помешать ее перейти, белые устроили там понтонную батарею и разбили на каждом берегу по небольшому лагерю. На юге проходит большая дорога, идущая по гористой местности, называемой верхним Капом; там они поставили войско и орудия. Позиция укреплена также и со стороны земли крепким забором из кольев, над которым трудились все обитатели. Таким образом Кап вне нашего нападения; наша засада в ущельях Укротителя Мулатов не удалась. Ко всем нашим неудачам присоединяется еще сиамская лихорадка, опустошающая лагерь Жана-Франсуа. Вследствие этого генерал-адмирал Франции думает, и мы разделяем его мнение, что следует вступить в переговоры с губернатором Бланшландом и с колониальным собранием. Вот письмо, с которым мы обращаемся по этому поводу к собранию. Слушай!

„Господа депутаты!

Великие беды постигли богатую и значительную колонию; они распространяются и на нас, и нам ничего больше не остается сказать в свое оправдание. Когда-нибудь придет день, когда вы окажете нам справедливость, которой заслуживает наше положение. Мы должны быть включены в общую амнистию, провозглашенную Людовиком XVI для всех без различия.

В противном же случае, так как король Испании—добрый король, хорошо обращающийся с нами и оказывающий нам награды, мы будем продолжать служить ему с ревностью и преданностью.

Мы видим по закону 28 сентября 1791 года, что национальное собрание и король дают вам право определять окончательно гражданское состояние лиц не свободных и политическое состояние темнокожих. Мы станем защищать декреты национального собрания и ваши декреты, облеченные в законную форму, до последней капли крови. Было бы хорошо, если бы вы объявили посредством постановления, утвержденного господином генералом, что вы намерены заняться судьбой невольников. Зная, что они—предмет ваших забот, о чем они узнали бы через своих вождей, которым вы переслали бы эту бумагу, они были бы удовлетворены, и нарушенное равновесие быстро восстановилось бы.

Таковы наши намерения. На этих условиях мы согласимся заключить мир.

Подписались: *Жан-Франсуа*, генерал; *Биассу*, генерал-майор, *Дерпе*, *Манзо*, *Гуссэн*, *Обер*, комиссары“.

— Видишь, — добавил Биассу по прочтении этого образчика негритянской дипломатии, врезавшейся слово в слово в мою память, — ты видишь, что мы люди миролюбивые. Слушай, чего я хочу от тебя. Ни Жан-Франсуа, ни я не были воспитаны в школах белых, где учатся красно говорить. Мы умеем драться, но не умеем писать. Однако мы не желаем, чтобы в нашем послании осталось что-либо такое, что возбудило бы высокомерные насмешки наших прежних повелителей. Повидимому, ты обучен этой суетной науке, которой недостает нам. Исправь те ошибки в нашей депеше,

которые могли бы возбудить смех белолицых; взамен я дарю тебе жизнь.

Я, не задумываясь, отверг это предложение.

Он казался удивленным.

— Как? — вскричал он. — Ты предпочитаешь лучше умереть, чем исправить несколько слов на клочке пергамента?

— Да, — отвечал я ему.

Повидимому, мое решение его смущало. Он сказал мне, подумав с минуту:

— Послушай, юный безумец, я менее упрям, чем ты. Я даю тебе отсрочку до завтрашнего вечера, а ты подумай хорошенько; завтра тебя снова приведут ко мне. Приготовься удовлетворить мое желание. Прощай. Утро вечера мудренее. Но помни, что у нас смерть не есть просто смерть.

Смысл этих последних слов, сопровождавшихся совершенно недвусмысленным смехом, был ясен; я прекрасно знал, что Биассу имел обыкновение изобретать страшные пытки для своих жертв.

— Уведите пленника, Канди, — продолжал Биассу, — отдайте его под стражу неграм Красной Горы; я хочу, чтобы он прожил еще сутки, а мои солдаты, чего доброго, не имели бы терпения подождать двадцать четыре часа.

Мулат Канди, начальник конвоя, приказал скрутить мне руки. Один из солдат взялся за конец веревки, и мы вышли из пещеры.

XXXIII

Когда необычайные события, потрясения и катастрофы обрушиваются на вас внезапно среди счастливой и спокойной жизни, то эти неожиданные тревожения и превратности судьбы вдруг пробуждают от сна душу, дремавшую в тиши монотонного благополучия. Но несчастье, постигающее вас подобным образом, кажется не пробуждением, а только сном. Для того, кто был всегда счастлив, отчаяние начинается с удивления. Непредвиденная беда похожа на торпеду; она встряхивает, но погружает в оцепенение, и грозный свет, проливаемый внезапно ею перед нашими глазами, не есть дневной свет. Люди, предметы, события—все

это проходит перед нами в каком-то фантастическом виде, все это движется точно во сне. Все изменяется на горизонте нашего существования—как атмосфера, так и перспектива; но проходит немало времени, прежде чем наши глаза отвыкнут от светлого образа прошлого, как бы следующего за нами, непрерывно становящегося между нашими глазами и мрачной действительностью, что меняет ее окраску и придает ей что-то лживое. И тогда все то, что есть, кажется нам невозможным и бессмысленным; мы едва верим своему собственному существованию, потому что, не видя более вокруг себя ничего из того, что составляло наше существование, мы не понимаем, как могло все это исчезнуть, не увлекши нас за собой, и почему от всей нашей жизни остались только мы сами. Когда подобное душевное состояние длится долго, то это нарушает равновесие мышления и превращается в безумие; быть может, это последнее состояние есть счастье, потому что для такого несчастного самая жизнь превращается лишь в странное видение, а сам он — в призрак.

XXXIV

Сам не знаю, господа, зачем я вам все это высказываю. Это не такие мысли, которые понятны всякому и которые можно пояснить. Их надо перечувствовать, и я их перечувствовал. Таково было мое душевное состояние в ту минуту, когда конвой Биассу передавал меня неграм Красной Горы. Мне казалось, что одни призраки передают меня другим, и я, не оказывая никакого сопротивления, дал привязать себя к стволу дерева. Они принесли мне несколько патат, сваренных в воде, и я машинально съел их.

Тем временем ночь наступала, мои стражи разошлись по своим землянкам, и подле меня остались всего шесть человек, сидевших и лежавших у большого костра, разведенного ими для защиты от ночного холода. Через несколько минут все они крепко уснули.

Мое физическое изнеможение способствовало тому, что я впал в мучительный бред. Я припоминал ясные, однообразные дни, проведенные мною, всего несколько недель

тому назад подле Марии, когда я даже не предполагал в будущем иной возможности, кроме возможности вечного счастья. Я сравнивал эти дни с только что истекшим днем, в продолжение которого передо мною прошло столько странных картин как бы для того, чтобы я усомнился в возможности существования всего этого, с днем, когда я был трижды приговорен к смерти.

Я вдумывался в мое будущее, состоявшее теперь всего из одного дня и не обещавшее мне ничего кроме муки и смерти, к счастью, впрочем, недалеко. Мне чудилось, что я борюсь с чудовищным кошмаром. Я спрашивал себя, возможно ли, что меня окружает лагерь кровожадного Биассу, что Мария навсегда потеряна для меня и что этот пленник, которого стерегут шестеро варваров, который связан и обречен на верную смерть, пленник, на которого падает свет костров,— это я сам. И, несмотря на все мои усилия избавиться от преследования еще более мучительной мысли, думы мои возвращались к Марии. Я тревожился о ее судьбе. Скорбные думы сменяли одна другую; снова мне припомнился Пьерро, и в душе моей поднялось бешенство, граничившее с помешательством; казалось, жилы на моем лбу были готовы лопнуть; я ненавидел, проклинал, презирал себя за то, что я связал с моей любовью к Марии дружбу с Пьерро, и я жалел, что не убил его. Он умер, скоро умру и я; единственно о чем я жалел теперь,— это о том, что я не отомстил.

Все это волновало меня в полузабытьи, в которое я погружился от полного изнеможения. Не знаю, сколько времени продолжался этот полусон, но я был внезапно вырван из своего оцепенения звуком мужественного голоса, ясно, хотя и где-то далеко напевавшего: „Я—контрабандист“. Вздвигнув, я открыл глаза; было темно, негры спали, огонь потухал. Теперь я больше ничего не слышал; подумав, что голос этот послышался мне просто во сне, я снова сомкнул свои отяжелевшие веки. Но голос раздался вновь, печально напевая куплет какого-то испанского ромansa:

Как попался я в плен
В Оканьянских полях;
В Котадию я взят
И несчастен я там.

Нет, это был уже не сон. Это был голос Пьерро. А еще через минуту он раздался опять во мраке и тумане, вторично пропел, почти над самым моим ухом, знакомый мотив: „Я—контрабандист“. У ног моих радостно терся большой дог, и это был Раск. Я поднял глаза. Передо мною стоял негр, и свет от костра бросал рядом с собакой его колоссальную тень; это был Пьерро. Меня охватило желание мести; от удивления я не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Я не спал. Как?! Мертвые воскресают! То был уже не сон, а видение. Я отвернулся с гадливым чувством. Увидя это, он поник головой.

— Брат, — прошептал он тихим голосом, — ты обещал мне никогда не сомневаться во мне, когда я запою эту песню. Брат, скажи, ты забыл свое обещание?

Гнев вернул мне дар слова.

— Изверг! — вскричал я. — Наконец-то ты опять передо мной! Палач, убийца дяди, похититель Марии, как ты смеешь называть меня своим братом? Не подходи ко мне!

Я забыл, что связан так, что не могу сделать почти ни одного движения.

— Ты несчастен, — сказал он, и мне тебя жаль; ты же меня не жалеешь, хотя я несчастнее тебя.

Я пожал плечами. Он понял этот немой упрек и взглянул на меня задумчиво.

— Да, ты лишился многого; но, поверь мне, я лишился большего, чем ты.

Между тем голоса наши разбудили стороживших меня негров. При виде постороннего они поспешно вскочили, схватившись за оружие, но едва взгляды их остановились на Пьерро, как у них вырвался крик изумления и радости, и они пали ниц, стучаясь лбами о землю.

Но ни знаки почтения этих негров по адресу Пьерро, ни ласки Раска, перебежавшего от своего хозяина ко мне, при чем он смотрел на меня с тревогой, точно удивленный оказываемым ему мной холодным приемом, — ничто в эту минуту не производило на меня впечатления. Меня обуревало бессильное бешенство.

— О! — вскричал я наконец, плача от ярости под связывавшими меня веревками. — О, как я несчастен! Я жалел уже

о том, что этот негодяй наказал себя сам: я считал его умершим и был в отчаянии, что не могу отомстить ему. А теперь он приходит сам издеваться надо мною. Вот он, живой, у меня на глазах, и я не могу иметь счастье заколоть его! О, кто избавит меня от этих гнусных минут?

Пьерро обернулся к неграм, все еще распростертыми перед ним.

— Товарищи, — сказал он, — равняйте пленника.

XXXV

Ему сейчас же повиновались. Шестеро сторожей с поспешностью перерезали связывавшие меня веревки. Я выпрямился, свободный теперь, но не мог пошевелиться; теперь меня сковывало изумление.

— Это не все, — сказал тогда Пьерро и, вырвав у одного из негров кинжал, он подал его мне, говоря: — Утоли свое желание. Бог свидетель, что я не оспариваю у тебя права располагать моей жизнью. Ты мне спас ее трижды, теперь она вполне принадлежит тебе; убей меня, если ты этого хочешь.

В голосе его не слышалось ни упрека, ни горечи. В нем звучали только грусть и покорность судьбе.

Эта неожиданная возможность мести, вдруг предоставленная мне, заключала в себе что-то странное. Я почувствовал, что всей моей ненависти к Пьерро, всей моей любви к Марии было недостаточно для того, чтобы решиться на убийство. Какой-то внутренний голос кричал мне из самого тайника души, что никогда враг или виновный человек не идет так прямо навстречу мести и наказанию. Наконец скажу вам, что в том властном величии, которое окружало это необыкновенное существо, заключалось что-то такое, что покоряло даже меня в ту минуту, вопреки моей воле. Я оттолкнул кинжал.

— Несчастный, — сказал я ему, — я хочу убить тебя на поединке, а не зарезать, как убийца. Защищайся!

— Чтобы я защищался! — отвечал он с удивлением. — Но против кого?

— Против меня.

Он сделал изумленный жест.

— Против тебя? Это единственное, в чем я не могу тебе повиноваться.

Он добавил после небольшого молчания:

— Я читаю в глазах твоих ненависть, подобно тому, как ты мог однажды прочесть ее в моих глазах. Я знаю, что тебя постигли большие беды: дядю твоего умертвили, нивы твои сожгли, друзей перерезали, дома твои разграбили, наследство твое уничтожили...

Я стремительно подошел к нему и сказал громовым голосом:

— Где Мария? Что ты сделал с Марией?

При этом имени по челу его прошло облако грусти; он казался смущенным. Наконец он отвечал:

— Мария! Да, ты прав... Но вокруг нас слишком много ушей.

Его замешательство, эти слова: „Ты прав“ снова зажгли в сердце моем адское пламя. Мне показалось, что он уклоняется от ответа на мой вопрос. В эту минуту он посмотрел на меня своим открытым взором и сказал с глубоким волнением:

— Не подозревай меня, умоляю тебя!

Он приостановился на минуту и добавил растроганно:

— Могу ли я называть тебя братом?

Но ревнивый гнев опять загорелся во мне, и эти нежные слова, показавшиеся мне лицемерными, только разъярили меня.

— Как ты смеешь напоминать мне об этом времени? — вскричал я. — Неблагодарный!

Он прервал меня. В глазах его блеснули крупные слезы.

— Если кто неблагодарен, то уж, конечно, не я.

— Ну, хорошо, говори! — продолжал я вспльчиво. — Куда ты девал Марию?

— Не здесь, не здесь! — отвечал он мне. — Здесь наш разговор слушают не одни наши уши. Впрочем, ты, вероятно, не поверил бы мне на слово, а время не терпит. Уж светает, а мне надо вырвать тебя отсюда. Слушай, раз ты сомневаешься во мне, значит все кончено, и самое лучшее,

чтобы ты заколол меня кинжалом; но подожди еще немного прежде чем привести в исполнение то, что ты называешь мстью; сначала мне надо освободить тебя. Идем со мною к Биассу.

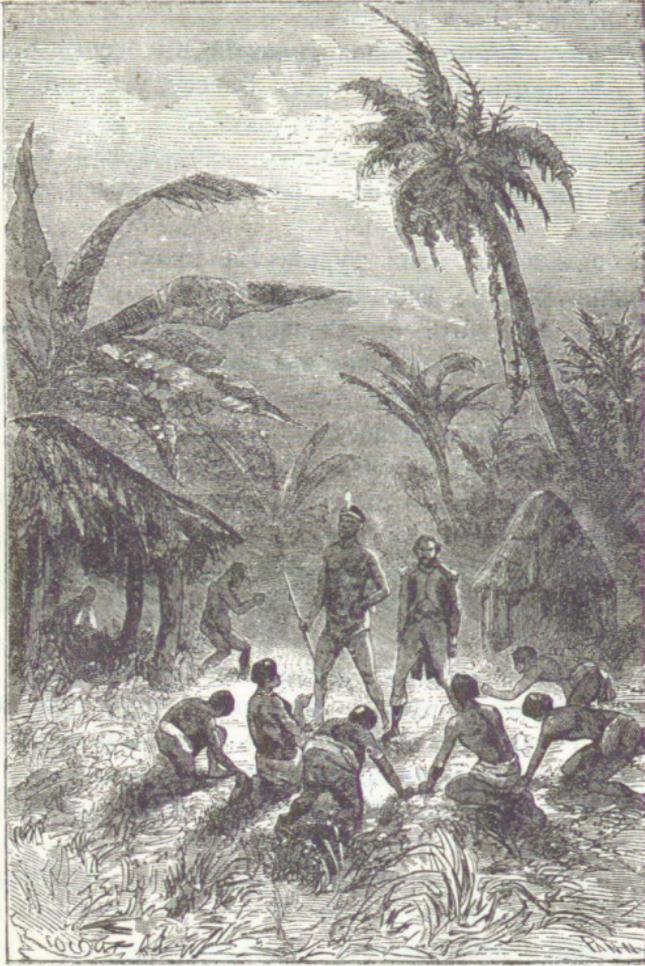
Его поведение и слова скрывали какую-то тайну, которой я не мог постичь. Несмотря на все мое предубеждение против этого человека, голос его заставлял всегда звучать какую-то струну в моем сердце. Слушая его, я был под обаянием какой-то непостижимой власти. Я ловил себя на колебании между мстью и жалостью, недоверием и слепой преданностью этому человеку. И я последовал за ним.

XXXVI

Мы вышли из лагеря негров Красной Горы. Я удивлялся тому, что прохожу свободно здесь, где еще накануне каждый из негров жаждал моей крови. Негры и мулаты не только не пытались остановить нас, но падали при нашем приближении ниц с восклицаниями удивления, радости и почтения. Я не знал, какое положение занимал Пьерро в войске восставших, но я помнил власть его над товарищами-невольниками и объяснил себе без труда то обаяние, которое признавали в нем его товарищи по восстанию.

Когда мы дошли до линии конвоя, охранявшего пещеру Биассу, к нам устремился начальник конвоя, мулат Канди крича издали с угрозой, как мы осмелились так близко подойти к генералу; но как только он узнал Пьерро, он снял внезапно свою вышитую золотом шляпу и, точно ужаснувшись своей собственной дерзости, склонился до земли и ввел нас к Биассу, бормоча тысячу извинений.

Уважение, оказываемое Пьерро простыми неграми-солдатами, меня не удивило, но, когда я увидел, что Канди, один из главных офицеров, склоняется перед невольником моего дяди, я стал спрашивать себя, кем мог быть этот человек, власть которого казалась такой большой. Но уж окончательно я опешил, когда увидел, что генералиссимус, сидевший в одиночестве, когда мы вошли, и спокойно завтракавший, быстро поднялся при виде Пьерро и, скрывая тре-



Негры и мулаты падали при нашем приближении ниц с восклицаниями удивления, радости и почтения.

вожное удивление и сильнейшую досаду под маской глубочайшего почтения, смиренно склонился перед своим товарищем и предложил ему свое кресло. Пьерро отказался.

— Жан Биассу, — сказал он, — я пришел просто попросить у вас одной милости.

— Alteza, — отвечал Биассу, усиленно кланяясь, — вам известно, что вы можете располагать всем, что зависит от

Жана Биассу, всем, что принадлежит Жану Биассу, как и самим Жаном Биассу.

Этот титул „Alteza“, равносильный „высочеству“ или „светлости“, даваемый Пьерро самим Биассу, увеличил еще более мое удивление.

— Я не требую так много, — продолжал с живостью Пьерро, — я прошу у вас только свободы и жизни этого пленника.

Он указал на меня рукой. На минуту Биассу опешил, но замешательство его длилось недолго.

— Вы приводите в отчаяние вашего слугу, alteza; вы требуете от него более, чем он может дать, к великому его сожалению. Пленник этот не принадлежит Жану Биассу и не зависит от Жана Биассу.

— Что вы хотите сказать? — строго спросил Пьерро. — От кого же он зависит? Разве здесь имеется другая власть, кроме вашей.

— Увы, да!

— Какая же?

— Мое войско.

Ласковый и лукавый вид, с которым Биассу обходил высокомерные и прямые вопросы Пьерро, доказывал, что он твердо намерен ограничиться лишь тем внешним почетом, какой он обязан был оказывать ему.

— Как, — вскричал Пьерро, — ваше войско? Разве вы не командуете им?

Чувствуя, что преимущество на его стороне, Биассу отвечал с притворной искренностью, не меняя однако своей подначальной позы:

— Разве alteza действительно думает, что можно командовать людьми, восставшими только для того, чтобы больше не повиноваться?

Пьерро возразил ему:

— Ну, хорошо. Если вы не умеете справляться со своим войском, если ваши солдаты — ваши начальники, то объясните, какие поводы имеют они ненавидеть этого пленника?

— Букман только что пал жертвой правительственных войск, — сказал Биассу, придавая грустное выражение своему свирепо-насмешливому лицу. — Мои солдаты решили ото-

мстить смертью этого белого за смерть вождя ямайских негров; трофею они хотят противопоставить трофей, хотят, чтобы голова этого молодого офицера была платой за голову Букмана.

Риго вскричал с лицемерной скорбью:

— Боже мой! Вот что значит разъярившийся народ!

XXXVII

Возраставший тем временем шум извне тревожил, очевидно, Биассу. Позднее я узнал, что переполох был поднят неграми Красной Горы, оповестившими весь лагерь о возвращении моего освободителя и выражавшими намерение содействовать ему, с какой бы целью он ни отправился к Биассу. Риго только-что уведомил об этом обстоятельстве генералиссимуса; и только боязнь пагубной смуты в войске заставила хитрого вождя уступить желаниям Пьерро.

— Alteza, — сказал он раздосадованно, — если мы строги к белым, то и они строги к нам. Что же я могу сделать теперь, что было бы вам приятно?

— Я уже сказал вам, что, сеньор Биассу, — отвечал Пьерро. — Отдайте мне этого пленника.

Биассу призадумался на минуту, а потом вскричал:

— Хорошо, alteza, — я хочу доказать вам, как велико мое желание служить вам. Позвольте мне только сказать пленнику два слова по секрету, а потом он может следовать за вами.

— Ну, что же, извольте, — отвечал Пьерро, и лицо его, до той минуты гордое и недовольное, просияло от радости; он отошел на несколько шагов.

Биассу увлек меня в угол пещеры и сказал мне шопотом:

— Я позволю тебе следовать за ним; дай мне только честное слово снова отдать себя в мои руки за два часа до солнечного заката. Ведь ты француз?

Как мне выразить это, господа? Жизнь была для меня бременем, и к тому же мне претило быть обязанным ему этому Пьерро, который, казалось, был так достоин моей ненависти; я действительно не желал ничего иного, кроме

нескольких часов свободы, чтобы, прежде чем умереть, выяснить окончательно судьбу моей возлюбленной Марии. Честное слово, которого просил у меня Биассу, представляло верное и легкое средство прожить еще один день; я дал это слово.

Связав меня таким образом, вожь подошел к Пьерро.
— *Alteza*, — сказал он подобострастным тоном, — белый пленник к вашим услугам; вы можете увести его, он свободен следовать за вами.

Никогда я не видывал такого выражения счастья в глазах Пьерро.

— Благодарю, Биассу! — вскричал он, протягивая ему руку. — Благодарю тебя! Ты оказал мне такую услугу, что впредь можешь требовать от меня чего захочешь. Продолжай командовать моими братьями Красной Горы до моего возвращения.

Он обернулся ко мне.

— Ты свободен, — сказал он, — идем!

И он увлек меня с какою-то особенной, страстной энергией. Биассу следил за нами с удивлением, провожая Пьерро изъявлениями почтения.

*

Я ждал с нетерпением той минуты, когда останусь наедине с Пьерро. Проявленное им замешательство, когда я спросил его о Марии, дерзкая нежность, с которой он осмеливался произносить ее имя, еще усилили в моем сердце чувство ревности к нему, зародившиеся во мне в тот момент, когда во время пожара форта Галифе он унес у меня на глазах ту, которую я едва успел назвать своей женой. Что мне было за дело до окружавшей его тайны, в силу которой он появлялся живым передо мной, когда я думал, что уже видел его смерть, в силу которой он оказывался пленником белых после того, как я видел, что он погиб в волнах, в силу которой невольник превратился в *alteza*, а пленник в освободителя? Из всех этих непостижимых вещей я понимал ясно только одно: гнусное похищение Марии. Я с нетерпением ждал той минуты, когда я буду в состоянии принудить моего соперника объясниться. Наконец минута эта наступила.

Мы миновали тройные ряды расprostертых по нашему пути негров, восклицавших с изумлением: „Чудо, он уж более не пленник!“ Не знаю, кого они имели в виду — меня или Пьерро. Мы миновали уже последнюю черту лагеря, за деревьями и скалами уже скрылись из наших глаз последние часовые Биассу; Раск то весело бежал впереди нас, то возвращался к нам, Пьерро шел быстро вперед; я остановил его.

— Послушай, — сказал я ему, — дальше итти бесполезно. Никого нет кругом. Никто не может нас слышать здесь; говори, куда ты девал Марию?

Голос мой прерывался от сдерживаемого волнения. Он кротко посмотрел на меня.

— Опять! — отвечал он мне.

— Да, опять! — вскричал я бешено. — Опять. Я стану спрашивать тебя об этом до твоего последнего издыхания, до моего последнего вздоха. Где Мария?

— Итак, ничто не может рассеять твои сомнения в моей верности? Ты скоро узнаешь, где она.

— Скоро, изверг! — возразил я. — Я хочу знать это сейчас. Где Мария? Где Мария? Слышишь? Отвечай или бейся со мною! Защищайся!

— Я говорил уже тебе, — сказал он с грустью, — что это невозможно. Поток не борется против своего источника; ты спас мне три раза жизнь, я не могу защищать ее против тебя. Впрочем, если бы я даже и захотел этого, все-таки это было бы невозможно. У нас всего один кинжал на двоих.

При этих словах он вынул из-за пояса кинжал и протянул его мне.

— Возьми, — сказал он.

Я был вне себя, схватил кинжал и приставил к его груди. Он даже не попытался отстраниться.

— Несчастный, — сказал я ему, — не вынуждай меня на убийство. Я всажу тебе клинок в самое сердце, если ты не скажешь мне сейчас же, где моя жена.

Он отвечал мне без малейшего гнева:

— На то твоя воля; но умоляю тебя, подари мне еще час жизни и следуй за мной. Если через час ты все еще

будешь сомневаться во мне, ты можешь меня убить. Это ты всегда успеешь сделать. Ведь ты видишь, что я не хочу сопротивляться тебе. Заклинаю тебя именем самой Марии...— Он добавил с усилием:— Твоей жены. Подожди еще час...

В тоне его голоса было что-то невыразимо убедительное и скорбное. Внутри какой-то тайный голос точно подсказывал мне, что, быть может, он говорит правду, что одно желание спасти свою жизнь не могло придать его голосу эту глубокую нежность, эту умоляющую кротость, и что он защищал не одного себя. И еще раз я поддался тому тайному влиянию, которое он имел на меня и в котором в эту минуту я стыдился себе сознаться.

— Хорошо,— сказал я,— я дарю тебе этот час. Идем.

Но когда я захотел возвратить ему кинжал, он отвечал мне:

— Нет, оставь его при себе, раз ты мне не доверяешь. Но идем же, не надо терять время.

*

Он повел меня дальше. Раск, который во время нашего разговора не раз пытался продолжать путь и потом снова возвращался к нам, как бы спрашивая глазами, почему мы остановились, побежал теперь весело дальше. Мы углубились в девственный лес. Приблизительно через четверть часа мы вышли на красивую зеленую саванну, орошаемую горным источником и окаймленную опушкой высоких вековых лесных деревьев. На саванну эту выходило отверстие пещеры, зеленоватые стены которой были покрыты гущей лиан, жасмина и других ползучих растений. Раск собрался было залаять, но Пьерро знаком заставил его молчать и, не говоря ни слова, увлек меня за руку в пещеру.

В пещере этой спиной к входу на плетеной циновке сидела женщина. На шум наших шагов она обернулась. Друзья мои, то была Мария!

Она была одета в то же белое платье, как в день нашей свадьбы, и в волосах ее еще красовался веноч из помаранцевых цветов. Она увидала меня, узнала, вскрикнула и упала в мои объятия, оцепеневшая от радости и удивления. Я растерялся.

При этом крике, из соседней комнаты, помещающейся в углублении пещеры прибежала старуха с ребенком на руках. То была кормилица Марии с младшим ребенком моего несчастного дяди. Пьерро принес воды из ближайшего источника и освежил ею лицо Марии. Холодная вода привела ее в чувство, и она открыла глаза.

— Леопольд, — сказала она, — мой Леопольд!

— Мария! — отвечал я, и мы слились в поцелуе.

— Хотя бы не при мне, по крайней мере! — вскричал раздирающий душу голос.

Мы подняли глаза: то был Пьерро. Он находился тут же, присутствуя при наших ласках, точно на пытке. Из его вздымавшейся груди вылетало отрывистое дыхание, ледяной пот капал крупными каплями с его лба, и все члены его тряслись. Вдруг он закрыл лицо руками и выбежал из пещеры, повторяя с ужасом: „Не при мне!“

Мария приподнялась в моих объятиях и вскричала, провожая его глазами:

— Леопольд, любовь наша, кажется, причиняет ему страдания. Неужели он меня любит?

Возглас невольника доказал мне, что он был моим соперником, а восклицание Марии доказывало, что он был также и моим другом.

— Мария! — отвечал я, и бесконечное блаженство проникло мне в сердце вместе с мучительным сожалением. — Мария! Разве ты этого не знала?

— Да я и теперь этого не знаю, — сказала она, целомудренно покраснев. — Как? Он любит меня? Я этого никогда не замечала.

Я с упоением прижал ее к сердцу.

— Я обрел вновь жену и друга, — вскричал я. — Как я счастлив и как я виновен. Я усомнился в нем.

— Как? — заговорила снова Мария с удивлением. — Ты усомнился в нем? В Пьерро? О, да, ты очень виновен перед ним! Ты обязан ему дважды моей жизнью, быть может, еще большим, — добавила она, опуская глаза. — Не будь его, меня пожрал бы речной крокодил; не будь его, негры... Пьерро вырвал меня из их рук в ту минуту, как они собирались, вероятно, отправить меня туда же, куда уже отправили моего несчастного отца.

Она остановилась и заплакала.

— Но почему же, — спросил я ее, — Пьерро не отослал тебя обратно в Кап, к твоему мужу?

— Он пытался это сделать, — отвечала она, — но не мог. Это было трудно потому, что он был принужден скрываться одинаково как от белых, так и от негров. К тому же никто не знал, что случилось с тобой. Одни говорили, что видели, как тебя убили, но Пьерро уверял меня, что это неправда.

— Значит, — сказал я, — Пьерро и привел тебя сюда?

— Да, Леопольд; эта уединенная пещера известна только ему. Вместе со мною он спас все, что осталось от моей семьи — мою добрую кормилицу и маленького брата; и он спрятал нас здесь. Уверяю тебя, что в этой пещере очень удобно, и, не будь повсеместной войны, из-за которой теперь обшаривают все уголки, я с радостью стала бы здесь жить с тобой теперь, когда мы разорены. Пьерро доставлял нам все нужное. Он часто навещал нас; на голове его красовалось красное перо. Он утешал меня, говорил мне о тебе, уверял, что мы с тобой опять соединимся. Однако, не видя его целых три дня, я начала было беспокоиться и, когда он вдруг вернулся вместе с тобою... Бедный друг, значит он ходил за тобой?

— Да, — отвечал я.

— Но каким же образом, — продолжала она, — он влюблен в меня, при всем этом? Ты уверен, что это так?

— Да, теперь я уверен, — сказал я. — Именно он-то и собирался заколоть меня, но пощадил из боязни огорчить тебя; именно он пел тебе те любовные песни там, в речном павильоне.

— Неужели? — продолжала Мария с наивным изумлением. — Он и есть соперник? Он — тот злой человек, растоптавший мои цветы? Не могу этому поверить! Он держался со мной так смиренно, так почтительно, еще почтительнее, чем когда он был нашим невольником. Правда, что иногда он смотрел на меня с каким-то странным выражением, которое я приписывала постигнутому меня несчастью. Если бы ты знал, с какой горячей преданностью он говорил со мной о тебе.

Объяснения эти восхищали и в то же время терзали меня. Мне вспоминалось, с какой жестокостью я обращался

с этим бедным Пьерро, и чувствовал теперь всю силу его нежных и покорных упреков.

В эту минуту вернулся Пьерро. Лицо его было мрачно и скорбно. Он походил на перенесшего пытку. Он приблизился ко мне медленными шагами и сказал мне мрачно, указывая на кинжал, заткнутый у меня за пояс:

— Час прошел!

— Час! Какой час? — сказал я.

— Тот, что ты даровал мне; мне он был нужен для того, чтобы привести тебя сюда. Я умолял тебя оставить мне жизнь, а теперь я заклинаю тебя убить меня.

Сердце мое мучительно ныло от переполнявших его нежных чувств любви, дружбы, благодарности. Я упал к ногам невольника, не будучи в состоянии вымолвить ни одного слова и горько рыдая.

Он поспешно поднял меня.

— Что ты делаешь? — проговорил он.

— Воздаю тебе должное; я недостоин такой дружбы, как твоя.

Лицо его хранило еще некоторое время суровое выражение; казалось в душе его происходит сильная борьба; он сделал было шаг ко мне и отступил, открыл было рот и промолчал. Но это длилось недолго, и он раскрыл мне свои объятия со словами:

— Могу ли я теперь называть тебя братом?

Я отвечал ему только тем, что кинулся к нему на грудь.

*

Радость, выражавшаяся на его лице под впечатлением первых излиятий дружбы, скоро потухла; черты его приняли выражение глубокой грусти.

— Послушай, — сказал он мне холодным тоном, — отец мой был царем в стране Каконго. Он творил суд над своими подданными у своих ворот и каждый раз, решая какое-нибудь дело, выпивал, согласно обычаю, полный кубок пальмового вина. Мы были счастливы и могущественны. К нам явились европейцы и наделили меня суетными познаниями, которые тебя так поразили. Начальник их был испанский капитан; он посулил отцу более обширное царство, чем то,

которое у него было, и белых женщин; отец мой последовал за ним со всем своим семейством. Брат, они продали нас!

Грудь негра вздымалась, глаза его сверкали; машинально он сломал молодое деревцо, у которого стоял, и продолжал, как бы вовсе не обращаясь ко мне:

— Повелитель страны Каконго очутился в свою очередь во власти повелителя, а сын его стал невольником и возделывал поля Сан-Доминго. Молодого львенка разлучили с его старым отцом для того, чтобы легче было обуздать обоих. Молодых жен отняли у мужей, чтобы выручить большой барыш, соединив их с другими. Маленькие дети не знали, где матери, вскормившие их, где отцы, купавшие их в потоках; их окружали только жестокие тираны, спали они вместе с псами.

Он умолк, но губы его продолжали шевелиться, глаза были неподвижны и выражали безумие. Наконец он схватил меня за руку.

— Слышишь, брат? Меня перепродавали нескольким плантаторам, точно скотину. Ты помнишь казнь Ожэ? В тот день я снова свиделся с отцом. Но увидал я его на колесе.

Я содрогнулся. Он добавил:

— Жена моя была отдана во власть белым, — продолжал он. — Слушай, брат: она умерла, прося меня отомстить за нее. Признаться ли? — проговорил он нерешительно и опуская глаза. — Я согрешил, я полюбил другую. Но оставим это. Все мои сородичи торопили меня, умоляя освободить их и отомстить за себя. Раск приносил мне их послания. Но я не мог удовлетворить их желания, потому что сам был в тюрьме у твоего дяди. В тот день, как ты добился моего помилования, я ушел для того, чтобы вырвать своих детей из рук жестокого господина. Наконец я прибыл на место: последний из внуков царя Каконго только-что испустил последний вздох под ударами белого. Другие умерли раньше.

Он остановился и спросил меня холодно:

— Брат, что сделал бы ты на моем месте?

Этот грустный рассказ заставил меня похолодеть от ужаса. На вопрос его я ответил угрожающим жестом. Он понял меня и горько улыбнулся. Потом он продолжал:

— Невольники возмутились против своего господина и покарали его за убийство моих детей. Меня они выбрали своим вождем. Тебе известны бедствия, вызванные этим восстанием. Я узнал, что невольники твоего дяди готовились последовать этому примеру. Я прибыл в Акуль в самую ночь мятежа. Ты отсутствовал. Дядя твой был только-что заколот в постели. Негры поджигали плантации. Я проник в форт с помощью мною самим проделанного прохода. Кормилицу твоей жены я сдал на руки одному верному негру, но Марию твою спасти мне было гораздо труднее. Она бросилась к пылавшей части форта, чтобы вырвать оттуда самого младшего брата, единственного, который уцелел от избиения. Ее окружили негры и собирались убить, когда я появился и приказал им предоставить мне самому отомстить за себя. Они удалились. Я взял твою жену на руки, поручил ребенка Раску и скрыл их обоих в этой пещере, доступ в которую известен лишь мне одному.

Все сильнее и сильнее обуреваемый угрызениями совести и благодарностью, я хотел броситься опять к ногам Пьерро, но он остановил меня с оскорбленным видом.

— Ну, идем, — сказал он через минуту, беря меня за руку, — возьми свою жену и отправимся в путь все пятеро.

Я спросил его с удивлением, куда он хочет вести нас.

— В лагерь белых, — отвечал он мне. — Это убежище перестало быть безопасным. Завтра на рассвете белые должны напасть на лагерь Биассу. Лес будет, разумеется, подожжен. К тому же мы не можем терять ни минуты: за мою голову отвечают десять голов. Мы можем спешить, потому что ты свободен, и должны спешить, потому что я не свободен.

От этих слов мое удивление еще более возросло; я попросил у него объяснения.

— Разве ты не слышал, что Бюг Жаргаль взят в плен? — сказал он с нетерпением.

— Слышал, но что же общего между тобою и этим Бюг Жаргалем?

В свою очередь он казался удивленным и отвечал серьезно:

— Этот Бюг Жаргаль — я.

Я привык уже ко всяким неожиданностям с этим человеком. Но теперь я был вне себя от изумления, узнав, что он — грозный и великодушный Бюг-Жаргаль, вождь мятежников Красной Горы. Наконец-то я понял, почему окружали его таким почетом все мятежники и даже сам Биассу — для них он был вождь Бюг Жаргаль и царь Каконго.

Повидимому, он не обратил внимания на впечатление, произведенное на меня его последними словами.

— Мне передали, — продолжал он, — что в свою очередь ты находишься в плену в лагере Биассу, и я явился туда, чтобы освободить тебя.

— Почему же ты мне только-что говорил, что ты не свободен?

Он взглянул на меня, словно пытаюсь разгадать, что вызвало этот вполне естественный вопрос.

— Слушай, — сказал он мне, — сегодня утром я находился в плену у белых. И вот я услышал, что в лагере распространилось известие, что Биассу объявил свое намерение умертвить до солнечного заката одного молодого пленника по имени Леопольд д'Овернэ. Тогда усилили мою стражу, и я узнал, что моя казнь последует за твоею и что в случае моего побега за меня ответят десятеро моих товарищей. Ты видишь, что мне надо спешить.

Я опять удержал его.

— Значит, ты убежал, — сказал я.

— Разве иначе я мог попасть сюда? Надо было спасти тебя. Не обязан ли я тебе жизнью? Ну, идем теперь. Всего час ходьбы как до лагеря белых, так и до лагеря Биассу. Смотри, тени кокосовых пальм удлиняются. Через три часа зайдет солнце. Идем, брат, время не терпит.

„Через три часа солнце зайдет.“

От этих простых слов я похолодел, точно передо мной вырос призрак смерти. Они напомнили мне роковое обещание, данное мною Биассу. Увы! Свидевшись снова с Марией, я позабыл о нашей вечной и близкой разлуке; я всецело был захвачен восхищением свидания; все эти волнения отшибли у меня память, и в счастье своем я позабыл о близости смерти.

Через три часа солнце зайдет. Чтобы вернуться в лагерь Биассу, мне надобно было всего час времени. Долг мой

вставал неумолимо передо мною: я дал слово Биассу, и лучше было умереть, чем дать ему право презирать единственную вещь, которой он еще, казалось, доверял — честь француза. Выбор был мучителен: я выбрал то, что должен был выбрать, но признаться ли вам, господа, у меня была минута колебания. Было ли то преступлением с моей стороны?

XXXVIII

Наконец, вздохнув, я взял одной рукой руку Бюг Жаргаля, а другой — руку моей бедной Марии, с тревогой следившей за тенью, омрачившей мои черты.

— Бюг Жаргаль; — сказал я с усилием, — поручаю тебе единственное сокровище в мире, которое я люблю больше, чем тебя: мою Марию. Возвращайтесь в лагерь без меня, ибо я не могу следовать за вами.

— Боже мой! — вскричала Мария, почти задыхаясь. — Еще новое несчастье.

Бюг Жаргаль вздрогнул. В глазах его отразилось горестное изумление.

— Брат, что ты говоришь?

Ужас, охвативший Марию при одной мысли о несчастье, которое словно угадывала ее пронизательная любовь, требовал, чтобы я скрыл от нее действительность и избавил ее от раздирающей сцены прощания; я нагнулся к уху Бюг Жаргаля и сказал ему шопотом:

— Я в плену. Я поклялся Биассу, что вернусь и отдамся ему вновь в руки за два часа до восхода солнца; я обещал умереть.

Он пришел в бешенство и закричал громовым голосом:

— Чудовище! Вот зачем он хотел говорить с тобой по секрету: он хотел вырвать у тебя это обещание. Мне не следовало доверять этому Биассу. Как мог я не предвидеть какого-нибудь вероломства с его стороны?

— Что такое? Какое вероломство? Какое обещание? — воскликнула Мария в ужасе. — Кто этот Биассу?

— Молчи, молчи, — повторил я шопотом Бюг Жаргалю, — не надо тревожить Марию.

— Хорошо, — сказал он мне мрачным тоном. — Но как мог ты согласиться на подобное обещание? Зачем ты дал его?

— Я считал тебя неблагодарным предателем и думал, что Мария погибла для меня. К чему была мне жизнь?

— Но устное обещание, данное такому разбойнику, не может связывать тебя.

— Я дал свое честное слово.

Казалось, он старался понять, что я хочу сказать.

— Твое честное слово? Что это такое? Вы не пили из одного кубка? Вы не переломили пополам кольца или кленовой ветки?

— Нет.

— Ну, так в чем же дело? Что может связывать тебя?

— Моя честь, — отвечал я.

— Я не знаю, что это значит. Ничто не связывает тебя с Биассу. Иди с нами.

— Не могу, брат, я обещал.

— Нет. Ты не обещал, — вскричал он с запальчивостью, а потом, возвышая голос, он продолжал: — Сестра, присоединитесь ко мне, не позволяйте вашему мужу оставлять нас. Он хочет вернуться в лагерь негров, откуда я вырвал его, вернуться под тем предлогом, что он обещал умереть их вождю Биассу.

— Что ты сделал? — воскликнул я.

Теперь уже было поздно предупредить действие его великодушного порыва, побудившего его обратиться за помощью к той, которую он любил сам, и все для того, чтобы спасти жизнь своего соперника. Мария кинулась в мои объятия с отчаянным криком. Обвив руками мою шею, она повисла у меня на груди почти без чувств, без сил.

— О, — прошептала она с трудом, — что говорит он, Леопольд? Ведь он обманывает меня, не так ли? Ведь не в ту же минуту, как он вновь соединил нас, хочешь ты покинуть меня, и для того покинуть, чтобы умереть. Ответь мне скорее, или я умру! Ты не имеешь права располагать своей жизнью потому, что не можешь приносить в жертву мою жизнь. Не можешь же ты желать расстаться со мной навсегда.

— Мария, не верь этому, — отвечал я, — я действительно покину тебя, потому что так надо, но мы увидимся снова в другом месте.

— В другом месте, — повторила она с испугом. — Где же?

— На небе, — отвечал я, не будучи в силах солгать ей.

Она снова лишилась чувств, но теперь уже от горя. Время шло, решение мое было принято. Я передал ее на руки Бюг Жаргалю, глаза которого были полны слез.

— Итак, ничто не может удержать тебя, — сказал он мне. — Я ничего не прибавлю к тому, что ты видишь сам. Как можешь ты противостоять Марии? За одно из тех слов, которые она говорила тебе, я принес бы ей в жертву целый мир, а ты не можешь пожертвовать ей своей смертью.

— Честью, — поправил я. — Прощай, Бюг Жаргаль. Прощай, брат, завещаю ее тебе.

Он взял меня за руку, задумался и, казалось, едва слушал меня.

— Брат, в лагере белых находится один твой родственник; я передам ему Марию; я же не могу принять ее от тебя.

Он указал мне на горную вершину, возвышавшуюся над всей окрестной местностью.

— Взгляни на эту скалу: когда на ней взвьется флаг, возвещающий о твоей смерти, не замедлит разнестись весть и о моей. Прощай.

Я обнял его, не вдумываясь в неведомый для меня смысл этих слов. Я поцеловал бледный лоб Марии, по-немногу приходившей в себя в объятиях кормилицы, и поспешно убежал из страха, чтобы ее первый взгляд, ее первый стон не лишили меня сил.

XXXIX

Я бросился в глубокий лес, возвращаясь по оставленным следам, не смея даже оглянуться назад. Точно желая заглушить преследовавшие меня мысли, я бежал без отдыха через чащи, саванны и холмы, пока наконец не открылся перед моими глазами на гребне скалы лагерь Биассу—ряды

тележек и землянок, где копошился целый муравейник негров. Тут я остановился. И путь мой и существование мое были кончены. Усталость, волнение сломили мои силы; я прислонился к дереву, чтобы не упасть, рассеянно пробегаю глазами ту картину, которая развертывалась у моих ног на роковой саванне.

До этой минуты я думал, что испил уже чашу горечи и желчи. Но я не ведал еще самого горького из всех несчастий.

Всего несколько часов тому назад мне было безразлично, жить или умереть. В сущности я не жил: крайнее отчаяние— это в своем роде смерть, заставляющая желать настоящей смерти. Но я был выведен из этого отчаяния, я вновь обрел Марию, мое блаженство воскресло, мое прошлое стало моим будущим, и все мои затмившиеся было мечты засияли вновь ослепительнее прежнего. И наконец сама жизнь, полная молодости, любви и радости, вновь расстилалась предо мной, открывая бесконечные горизонты. Я мог вновь начать эту жизнь: все приглашало меня к этому во мне самом и вне меня. Я был свободен, я был счастлив и однако я должен был умереть.

Смерть— пустяк для души, уже увядшей и утомленной невзгодами, но как мучительна рука ее, как она леденит, опускаясь на цветущее сердце, согретое радостью. Я испытывал это на себе: на мгновение я вырвался из гроба, я упился в это краткое мгновение всем, что есть самого прекрасного на свете— любовью, преданностью, свободой— и теперь мне приходилось вновь добровольно идти в могилу.

XL

Когда упадок духа, вызванный сожалением, прошел, мною овладело бешенство; я направился большими шагами в долину, потому что чувствовал желание скорее все кончить. Я подошел к передовым постам негров, но они приняли удивленный вид и отказались пропустить меня. Странное дело: мне пришлось почти упрашивать их. Наконец двое из них схватили меня и повели к Биассу.

Я вошел в пещеру вождя.

Он оказался занятым проверкой пружин различных орудий пыток, окружавших его. Он обернулся на шум, произведенный моим приходом, и присутствие мое, повидимому, его удивило.

— Не правда ли, — сказал он, усмехаясь, — для Леогри было большим счастьем, что его только-что повесили?

Я взглянул на него с холодным презрением и ни слова ему не ответил.

— Велите предупредить господина капеллана, — сказал он тогда одному из своих адъютантов.

С минуту мы оба молчали, глядя друг другу прямо в лицо.

Я наблюдал его, а он точно подсматривал за мною.

В эту минуту вошел Риго. Он казался взволнованным и заговорил с генералиссимусом шопотом.

— Собрать всех моих военачальников, — сказал спокойно Биассу.

Через четверть часа военачальники в своих разнообразных странных костюмах собрались перед пещерой.

Биассу встал и выпрямился во весь рост.

— Слушайте, друзья. Белые рассчитывают напасть на нас завтра на рассвете. Позиция здесь не хороша, надо ее бросить; мы выступим, когда солнце зайдет, и отправимся к испанской границе. Макайя, вы будете с вашими беглыми неграми передовым отрядом. Падрезан, вы должны закопать орудия, отнятые у артиллеристов в Пралото: в горы их брать нельзя. Туссэн последует за вами с неграми Леогана и Тру. Если гриоты и их бабы поднимут малейший шум, я предам их военному суду; подполковник Клу раздаст английские ружья, взятые на мысе Каброль, и поведет бывших вольных мулатов по тропинкам Висты. Пленников, если таковые еще имеются, надо уничтожить. Стрелы все отравить. Надо будет всыпать три бочки мышьяку в ключ, где берут воду для лагеря: колониальные войска примут мышьяк за сахар и станут пить, ничего не опасаясь. Войска из Лембэ, Дондона и Акуля выступят вслед за Клу и Туссенем. Завалите глыбами скал все дороги саванны, обстреливайте все проходы, поджигайте леса. Риго, оставайтесь подле нас.

Канди, соберите вокруг меня мой конвой. Негры Красной Горы составят арьергард и очистят саванну только на рассвете. Идите, — продолжал он, выпрямляясь. — Канди передаст вам пароль и лозунг.

Военачальники удалились.

— Генерал, — сказал Риго, — надо отправить депешу Жана-Франсуа. Дела наши плохи, а она могла бы остановить белых.

Биассу поспешно вынул ее из кармана.

— Вы напомнили мне о ней; но в ней столько грамматических ошибок, как они выражаются, что они над ней станут смеяться. — Он протянул мне бумагу, говоря: — Слушай, хочешь спасти свою жизнь? По своей доброте я еще раз предлагаю тебе это. Помогите мне переделать письмо; я продиктую свои мысли, а ты запишешь их сталям белых.

Я качнул отрицательно головой. Он принял раздосадованный вид.

— Значит, нет? — сказал он мне.

— Нет, — отвечал я.

Он настаивал:

— Подумай хорошенько.

И его взгляд как бы приглашал меня взглянуть на орудия пытки.

— Очень жаль, но мне некогда дать тебе попробовать все это. Наша позиция опасна, и я должен поскорей ее оставить. Ты отказываешься быть моим секретарем. А впрочем, ты прав, потому что потом я все-таки умертвил бы тебя. Человек, владеющий тайной Биассу, не может оставаться в живых; к тому же, милейший, я обещал твою смерть господину капеллану.

И он обернулся к только что вошедшему колдуну.

— Добрый отче, готов ли наш взвод?

Тот отвечал ему утвердительным жестом.

Тогда Биассу указал мне пальцем на большое черное знамя, которое красовалось в одном из углов пещеры.

— Вот оно должно предупредить белых, что они могут передать твой чин другому. Ты понимаешь, что в ту минуту я уже должен находиться в пути. Прощай, молодой капитан, поклонись от меня Леогри.

Последним приветствием его был этот смех, который напоминал мне шипение гремучей змеи; потом он махнул рукой и повернулся ко мне спиной. Негры увели меня. Нас сопровождал колдун в покрывале с четками в руках.

XLI

Я шел с ними, не оказывая никакого сопротивления; по правде говоря, оно было бесполезно.

Мы поднялись на вершину какой-то горы, возвышавшейся на западной стороне саванны, где мы немного отдохнули; там я бросил последний взгляд на заходившее солнце, восход которого мне не суждено было видеть. Отдохнув, мои проводники пошли снова, и я последовал за ними.

Мы спустились в маленькую долину, вид которой восхитил бы меня во всякое иное время. Во всю ширину ее протекал поток, сообщавший почве плодородную влажность; в конце долины поток этот впадал в одно из тех синих озер, которых так много в горных долинах Сан-Доминго. Сколько раз в более счастливые времена я бывало садился помечтать на берегу этих прекрасных озер в сумерки, когда лазурь озерных вод превращается в серебряную пелену, усеянную, точно золотыми блестками, отражениями первых вечерних звезд. Скоро наступят эти сумерки, но я должен был пройти мимо.

Какою прекрасною показалась мне эта долина! Здесь возвышались чудные платаны, необыкновенно могучие и высокие, росли группы особого вида пальм, до такой степени густых, что под сенью их не бывает никакой растительности, финиковые деревья, магнолии со своими широкими чашечками, высокие катальпы, листья которых мелькали посреди золотых гроздий древесных раkitников. Переплетались между собой различные ползучие растения. Зеленые завесы лиан скрывали от глаз коричневые отвесные стены соседних скал. Всюду на этой девственной почве разливалось такое же первобытное благоухание, как то, которым, вероятно, упивался первый человек, вдыхая аромат первых роз земных.

Между тем мы шли по тропинке, проложенной по берегу потока. К моему удивлению я увидел, что тропинка эта

внезапно привела нас к островерхой скале, у основания которой я рассмотрел отверстие в форме арки, откуда вытекал поток.

Негры свернули налево на извилистую, неровную дорогу, точно промытую водами какого-нибудь давно высохшего источника. Перед нами оказался какой-то свод, вход в который наполовину зарос терновником и остролистником. Под сводом этим раздавался глухой шум. Негры увлекли меня туда. Ко мне подошел колдун и сказал:

— Только один из нас выйдет из-под этого свода и снова пойдет по только-что пройденной нами дороге.

Мы подвигались вперед в темноте. Шум все усиливался; мы не различали более звука своих собственных шагов. Я решил, что шум это должен был исходить от какого-нибудь водопада, и не ошибся.

После десятиминутной ходьбы во мраке мы достигли полукруглой площадки. Большая часть ее была залита бурным потоком, вырывавшимся из горных недр с ужасающим шумом. Над этой подземной залой свод образовал нечто в роде купола, покрытого желтоватым плющом. Почти во всю ширину этого свода шла расщелина, через которую проникал дневной свет и по краям которой росли зеленые кустарники, которые золотились в эту минуту лучами заходящего солнца. На северном краю площадки поток низвергался с треском в бездну, на дне которой слегка колебался смутный свет, выходящий из расщелины. Над бездной росло старое дерево, самые верхние ветви которого погружались в пену водопада, а узловатый ствол выходил из скалы на фут или два ниже берега. Дерево это, и верхушка и корень которого купались таким образом в потоке, простиралось над бездной подобно иссохшей руке.

XLII

Негры остановились в этом страшном месте, и я понял, что час моей смерти наступил.

И тогда на краю этой бездны, в которую собирались меня бросить, во мне вдруг проснулось острое сожаление

о счастья, так недавно, всего несколько часов назад, отвергнутом мною, и меня охватило почти угрызение совести. Из уст моих вырвалась жалоба.

— Друзья,—сказал я окружавшим меня неграм,—знаете ли вы, как печально умирать в двадцать лет, когда человек полон сил и жизни, когда он любим, оставляет за собой глаза, которые будут плакать до той минуты, пока не сомкнутся навсегда.

На жалобу мою был ответом грубый смех. То был смех колдуна.

— Ха-ха-ха-ха! Тебе жаль жизни. Благодарение богу. Я боялся только того, что ты не устроишься самой смерти.

Тот самый смех, тот самый голос, из-за которого я уже столько раз терялся в догадках.

— Негодяй! — сказал я ему. — Кто же ты наконец?

— Сейчас узнаешь! — отвечал он мне с угрозой, а потом, отодвинув серебряное солнце, украшавшее его смуглую грудь, он сказал: — Смотри.

Я наклонился к нему. На волосатой груди колдуна виднелись беловатые буквы двух имен—отвратительные и неизгладимые следы, выжигаемые каленым железом на груди рабов. Одно из имен было Эффингем, а другое — мое собственное: д'Овернэ. Я онемел от изумления.

— Ну, что же, Леопольд д'Овернэ, — спросил меня колдун, — твое имя говорит ли тебе, как меня зовут?

— Нет, — отвечал я, удивляясь, что человек этот зовет меня по имени, и стараясь разобраться в своих спутанных воспоминаниях. — Эти два имени соединились только на груди шута... Но он умер, бедный карлик... Нет, ты не можешь быть Хабиброй.

— Он самый! — вскричал он страшным голосом и, приподняв окровавленный колпак, он сорвал с себя покрывало.

Преодо мной было безобразное лицо дядиного карлика, но только прежде свойственное ему выражение безумной веселости сменилось теперь на этом лице выражением мрачной угрозы.

— Уж не воскресают ли мертвые? — вскричал я, пораженный. — Это Хабибра, дядин шут!

Карлик взялся рукой за свой кинжал и глухим голосом проговорил:

— Его шут и его убийца.

Я отступил с отвращением.

— Его убийца! Негодяй, вот как ты отплатил ему за всю его доброту к тебе.

Он прервал меня.

— За его доброту! Скажи—за его оскорбления.

— Как?—продолжал я.—Так это ты его убил, низкий человек?

— Я,—отвечал он с ужасным выражением.—Я всадил ему нож так глубоко в сердце, что он едва успел пробудиться от сна для того, чтобы погрузиться в вечность. Он только слабо крикнул: „Ко мне, Хабибра!“ Да я ведь и был возле него.

Его омерзительный рассказ и его омерзительное хладнокровие возмутили меня.

— Несчастный! Гнусный убийца! Значит, ты забыл те милости, которые он расточал тебе. Ты ел у его стола, ты спал у его постели...

— Точно собака,—прервал меня Хабибра.—Не бойся. Мне слишком хорошо памятливы эти милости, из которых каждая была обидой. Я отомстил ему за них, а теперь отомщу за прошлое и тебе.

Он перевел дух.

— Неужели ты думаешь, что потому, что я мулат, карлик и урод, я уже не человек? О! Я тоже имею душу и душу более глубокую, более сильную, чем та, от которой я освобожу твое изнеженное тело. Меня подарили твоему дяде точно обезьянку. Я служил ему забавой, интересным предметом для презрения. Ты говоришь, что он меня любил, что я занимал место в его сердце. Да, место между его обезьяной и его попугаем. Но я избрал другое место в его сердце... с помощью своего кинжала.

Я содрогался.

— Да,—продолжал карлик,—это я, это я сам. Взгляни мне прямо в глаза, Леопольд д'Овернэ. Ты достаточно насмеялся надо мной, можешь теперь содрогаться. Когда я входил в ваши гостиные, меня встречали пренебрежительными смешками: мой рост, моя уродливость, смешной

костюм—все служило предметом насмешек твоего гнусного дяди и его гнусных друзей. А я не мог даже молчать: я должен был присоединиться к возбуждаемому мною смеху. Думаешь ли ты, что подобные унижения могут послужить причиной благодарности со стороны человеческого существа? Думаешь ли ты, что они не стоят тяжелой жизни других невольников, работы без отдыха под палящими лучами солнца, железного обруча на шее и кнута надсмотрщиков. Думаешь ли ты, что они недостаточны для того, чтобы зародить в человеческом сердце пламенную, неумолимую, вечную ненависть, такую же вечную, как клеймо позора на моей груди? О, как долго я страдал и как коротка была моя месть! Зачем не мог я подвергнуть своего тирана всем тем мучениям, что возобновлялись для меня ежедневно и ежеминутно. Зачем не мог он, прежде чем умереть, познать горечь оскорбленной гордости. Увы! Как тяжело было так долго ждать минуты кары и покончить все одним ударом меча. Я торопился услышать его предсмертный хрип и слишком быстро вонзил свой кинжал. Он умер, не узнав меня, и ярость испортила мое мщение. По крайней мере на этот раз оно будет полным. Но ты меня видишь, не правда ли. Положим, тебе трудно узнать меня в этом совершенно новом для тебя виде. Ты видел меня всегда только смеющимся и радостным; теперь же, когда ничто не мешает душе моей отражаться в моих глазах, я, вероятно, не похож на себя. Тебе была знакома только моя личина—вот мое лицо.

Оно было ужасно.

— Изверг!—вскричал я.—Ты ошибаешься: в зверстве твоего лица и твоего сердца все-таки еще есть что-то шутовское.

— Не говори о зверстве,—прервал Хабибра.—Вспомни о жестокости твоего дяди...

— Бездельник,—продолжал я в негодовании.—Если он был жесток, так это из-за тебя же. Ты сожалеешь о судьбе несчастных невольников, но зачем же ты тогда пользовался влиянием на своего господина для того, чтобы обращать его против своих же братьев? Отчего не старался ты смягчить его в их пользу?

— О! Я внушал ему обращаться как можно хуже со своими невольниками для того, чтобы ускорить час восстания, для того, чтобы чрезмерные гонения повлекли за собою месть.

Он принялся ходить взад и вперед по площадке, потирая руки.

— Теперь я хочу насладиться твоими терзаниями. Когда я увидел тебя в лагере негров, я попросил Биассу подарить мне твою жизнь. Он охотно согласился, и теперь она моя. Это моя забава. Ты скоро последуешь в бездну за этим водопадом, будь спокоен; но сначала я должен сказать тебе, что я открыл убежище, где скрывалась твоя жена, внушил Биассу мысль поджечь лес, и теперь, вероятно, пожар начался. Таким образом вся твоя семья уничтожена. Дядя твой погиб от стального клинка, ты погибнешь в воде, а твоя Мария — в огне.

Я сделал отчаянное движение, чтобы броситься на него.

Он обернулся к неграм.

— Свяжите его. Он сам ускорил свой час.

Тогда негры принялись молча опутывать меня веревками. Вдруг мне послышался отдаленный собачий лай, но я принял этот звук за иллюзию, вызванную ревом водопада. Негры подвели меня к бездне, которая должна была меня поглотить. Скрестив руки, карлик смотрел на меня с торжествующей радостью. Я поднял глаза к расщелине, чтобы увидеть еще раз хоть клочок неба. В эту минуту послышался собачий лай уже сильнее и отчетливее, в отверстие просунулась голова Раска. Я вздрогнул. Карлик крикнул:

— Ну!

Негры приготовились уже бросить меня в пучину.

XLIII

Товарищи! — крикнул громовый голос.

Все обернулись: это был Бюг Жаргаль. Он стоял на краю расщелины, на голове его развивалось красное перо.

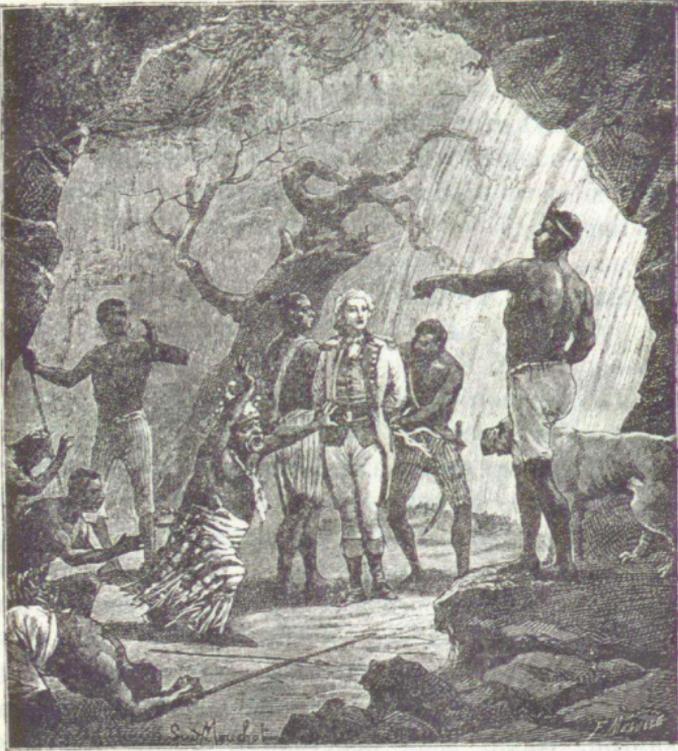
— Товарищи, — повторил он, — остановитесь!

Негры пали ниц. Он продолжал:

— Я — Бюг Жаргаль.

Негры издавали крики, смысл которых был мне непонятен.

— Развяжите пленника! — крикнул вождь.



Развяжите пленника! — крикнул Бюг Жаргаль.

В эту минуту карлик как бы вышел из оцепенения, в которое повергло его это неожиданное появление. Он внезапно бросился к неграм, которые готовы уже были разрезать мои путы.

— Как? Что такое? — вскричал он. — Что это значит?

И, подняв голову к Бюг Жаргалью, он сказал.

— Вождь Красной Горы, зачем вы явились сюда?

Бюг Жаргаль отвечал:

— Чтобы принять начальство над своими братьями.

— Правда,—сказал карлик со сдержанным бешенством,— все эти негры—с Красной Горы. Но по какому праву,— добавил он, возвышая голос,— распоряжаетесь вы моим пленником?

Вождь отвечал:

— Я—Бюг Жаргаль.

— Бюг Жаргаль,— возразил Хабибра,— не может отменить то, что приказал Биассу. Этот белый был отдан мне Биассу. Я хочу, чтобы он умер, и он умрет. Ну, вы,—сказал он неграм,—повинуйтесь! Киньте его в бездну!

При властном голосе колдуна негры вскочили и сделали шаг ко мне.

Я думал, что все уже кончено.

— Развяжите пленника!—крикнул Бюг-Жаргаль.

В одну минуту меня освободили от пут. Изумление мое было равносильно бешенству колдуна. Он хотел броситься на меня, но негры остановили его. Тогда он разразился ругательствами и угрозами.

— Как? Негодяи! вы отказываетесь повиноваться мне? Вы не слушаетесь моего голоса? Зачем потерял я время на разговор с этим проклятым? Мне следовало сейчас же бросить его на съедение рыбам водопада. Я пожелал более полного мщения, и теперь я вовсе его лишаюсь. Слушайте вы! Если вы не послушаетесь меня и не бросите этого мерзавца в бездну, я вас прокляну. Ваши волосы поседеют, москиты и комары пожрут вас заживо; ваши руки и ноги согнутся как камыш; горло ваше пересохнет, после вашей смерти души ваши будут осуждены вертеть непрестанно жернов величиной с гору на луне, где стоит вечный мороз.

Негры казались вне себя от ужаса под проклятиями колдуна.

Желая воспользоваться их нерешительностью и смятением, карлик вскричал:

— Я требую, чтобы белый умер! Вы должны повиноваться. Смерть ему!

Бюг Жаргаль отвечал серьезно:

— Он останется в живых.

— Братья, идите и скажите Биассу, чтобы он не вывешивал на горе черного флага, который должен известить

белых о смерти пленника, ибо пленник этот спас жизнь Бюг Жаргалю, и Бюг Жаргаль хочет, чтобы он жил.

Они поднялись.

Бюг Жаргаль бросил им свое красное перо. Командир взвода скрестил руки на груди и почтительно поднял перо, после чего они вышли, не произнося ни слова.

Колдун исчез вместе с ними во мраке подземелья.

Не стану пытаться описать вам, господа, то положение, в котором я очутился. Я взглянул влажными глазами на Пьерро.

— Брат, — сказал он мне, — выбирайся поскорее отсюда. Через полчаса солнце зайдет. Я буду ждать тебя в долине. Иди за Раском.

Дог быстро углубился в подземную галерею, я последовал за ним, и его негромкий лай указывал путь в темноте.

Через несколько минут я увидел перед собой свет. Наконец мы добрались до выхода, и я свободно вздохнул.

Добравшись до долины, я снова увидел Бюг Жаргалья. Я бросился в его объятия и замер на его груди, еле дыша, желая задать ему тысячу вопросов и не будучи в состоянии сказать ни слова.

— Слушай, — сказал он мне, — твоя жена, моя сестра, находится в безопасности. Я отвел ее в лагерь белых и передал одному вашему родственнику, командующему аванпостами; я хотел сдаться в плен из боязни, что вместо меня казнят десять негров, что отвечают за мою голову. Твой родственник сказал мне, чтобы я бежал и постарался предупредить твою казнь, потому что десятерых негров казнили бы только в том случае, если бы ты был казнен, о чем Биассу должен был объявить, вывесив черный флаг на самой высокой из наших гор. Тогда я бросился бежать. Раск указывал мне путь, и я поспел во-время. Ты останешься жив, и я тоже.

Он протянул мне руку и добавил:

— Доволен ли ты, брат?

Я опять обнял его, заклиная не покидать меня больше, остаться со мною среди белых; я обещал ему чин в колониальной армии.

Он прервал меня сурово:

— Брат, разве я предлагаю тебе поступить в наши ряды?

Я промолчал, чувствуя свою неправоту. Он добавил весело:

— Идем скорее навестить и успокоить твою жену.

Предложение это отвечало моему сердечному стремлению, и я последовал за ним, упоенный счастьем. Негр знал дорогу и шел впереди меня. Раск бежал за нами...

Вдруг д'Овернэ умолк и мрачно оглянулся. Со лба его катился крупными каплями пот. Он закрыл лицо рукой. Раск смотрел на него с тревогой.

— Да ты именно так смотрел на меня, — прошептал он.

...Раск бежал за нами. Самая высокая скала долины не озарялась уже более солнцем; но вдруг по ней промелькнул какой-то слабый отблеск и исчез. Негр вздрогнул и стиснул мне крепко руку.

— Слушай, — проговорил он.

И вот по долинам прокатился какой-то глухой гул подобный пушечному залпу; эхо повторило этот рокот.

— Это сигнал, — сказал негр мрачным голосом и добавил: — Ведь это пушечный выстрел.

Я кивнул утвердительно головой.

В два прыжка он очутился на высокой скале, я последовал за ним. Он скрестил руки и грустно улыбнулся.

— Видишь, — сказал он мне.

Я взглянул в ту сторону, куда он мне указывал, и увидел ту горную вершину, что он показал мне во время моего свидания с Марией. Ее еще освещало солнце, на ней развевался большой черный флаг.

Здесь д'Овернэ сделал паузу.

Потом я узнал, что Биассу, торопясь выступить и думая, что я умер, приказал вывесить флаг, не дожидаясь возвращения того взвода, которому было поручено казнить меня.

Бюг Жаргаль все еще стоял, скрестив руки и созерцая мрачный флаг. Вдруг он быстро обернулся и сделал несколько шагов, чтобы спуститься со скалы.

— Боже, боже! Мои несчастные товарищи!



По долинам прокатился глухой гул, подобный пушечному залпу.

Он обернулся ко мне и спросил.

— Слышал ты пушечный выстрел?

Я не отвечал.

— То был сигнал, брат. Теперь их ведут на казнь.

Голова его упала на грудь. Он подошел еще ближе ко мне.

— Иди к своей жене, брат. Раск проводит тебя.

Он принялся насвистывать какую-то африканскую мелодию, собака завилала хвостом и обнаружила намерение отправиться по известному направлению.

Бюг Жаргаль взял меня за руку, пытаясь улыбнуться, но улыбка эта была судорожной.

— Прощай!—крикнул он мне могучим голосом и скрылся в чаще окружавших нас деревьев.

Я стоял как окаменелый. То небольшое, что я понял из только-что происшедшего, внушало мне самые мрачные предчувствия.

Раск, видя, что хозяин исчез, подбежал к обрыву и стал мотать головой, испуская жалобный вой. Потом он вернулся, опустив хвост; его большие глаза были влажны; он посмотрел на меня с тревогой, потом побежал опять к тому месту, откуда ушел его хозяин, и стал лаять.

Я понял его, потому что ощущал те же самые опасения, что и он. Я сделал несколько шагов в его сторону, тогда он пустился бежать, как стрела, по следам Бюг Жаргалья, и я скоро потерял бы его из вида, хотя сам бежал во весь дух, если бы он не останавливался от времени до времени, точно желая дать мне время догнать его.

Так мы пробежали несколько долин, перебрались через овраги и холмы, покрытые деревьями и кустарником. Наконец...

Голос д'Овернэ оборвался.

На лицо его легло выражение мрачного отчаяния, и он едва мог произнести:

— Продолжай, Тадэ, потому что у меня сил теперь не больше, чем у дряхлой старухи.

Старый сержант был не менее взволнован, чем капитан, но все же он повиновался ему.

— С вашего разрешения... Раз вы того желаете, ваше благородие... Надо вам сказать, господа офицеры, хотя Бюг Жаргаль, по прозвищу Пьерро, и был славный негр, очень кроткий, сильный, мужественный и первый храбрец в мире после вашего благородия, все же я был очень восстановлен против него, чего я никогда себе не прощу... Таким образом господин капитан, услышав, что вас собираются убить на второй день вечером, я пришел в неистовую ярость против этого

бедняги и с адским злорадством объявил ему, что если так, то либо его, либо десятерых его сородичей мы расстреляем за компанию с вами, чтобы, так сказать, воздать возмездие. При этом известии он не промолвил ни слова, только час спустя он бежал, проделав большую дыру в стене...

Д'Овернэ сделал нетерпеливое движение. Тадэ продолжал:

— Хорошо. Когда мы увидели на горе большой черный флаг, так как он еще не возвратился, что не удивило нас, с вашего разрешения, господа, был дан пушечный сигнал, и мне было поручено отвести десятерых негров на место казни, называвшееся Чортовым Ртом и отстоящее от лагеря приблизительно... Впрочем, не все ли это равно. Когда мы пришли туда, то вы понимаете, господа, что это было совсем не для того, чтобы отпустить чернокожих во-свояси: я велел их связать, как полагается, и расставил свои взводы. Вдруг я вижу, что из лесу выходит высокий негр. У меня даже руки опустились. Он подошел ко мне запыхавшись.

— Я поспел во-время, — проговорил он. — Здравствуй, Тадэ.

— Да, господа, он только это и сказал, а потом пошел развязывать своих соотечественников. Я стоял, остолбенев. Тогда, с вашего разрешения, господин капитан, между ним и неграми завязался великодушный спор, которому, право, следовало бы дольше продолжаться... Ну, все равно. Да я, каюсь, сам прекратил спор. Он занял место негров. В эту минуту его большой пес... Бедный Раск. Он как прибежал, так и вцепился мне в горло. Право, ему следовало бы так подольше подержать меня. Но Пьерро сделал знак, и он, бедный выпустил меня; однако же Бюг Жаргаль не мог помешать ему растянуться у его ног... Я считал вас умершим, господин капитан. Я был вне себя от гнева... Я крикнул...

Сержант протянул руку, взглянул на капитана, но не мог произнести роковое слово.

— ... Бюг Жаргаль упал. Одна из пуль раздробила лапу его пса. С тех пор, господа офицеры, — и сержант печально поник головой, — с тех пор Раск хромает. Тут я услышал стоны в соседней роще и побежал туда... Стонали вы в ту

минуту, господин капитан, потому что в вас попала одна из наших пуль, когда вы спешили, чтобы спасти этого славного негра. Да, господин капитан, вы стонали, вы стонали о нем. Бюг Жаргаль был мертв. А вас принесли обратно в лагерь.

Сержант остановился, д'Овернэ повторил торжественным и скорбным голосом:

— Бюг Жаргаль был мертв.

Тадэ опустил голову.

— Да, — сказал он, — он пощадил мою жизнь, а я его убил.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Виктор Гюго был романтиком.

Явившись на смену классическому направлению, господствовавшему во французской литературе XVII и XVIII веков как выражение вкусов и идей помещицкой аристократии, романтизм был отражением в литературе того сдвига, который пережило французское общество с революцией 1789 года. Романтизм таким образом явился буржуазным завоеванием литературной арены, где в течение двух веков буржуазии, как сословию низшему, был закрыт доступ к официальной и „высшей“ литературе. Однако то, что ей приходилось ютиться на литературных задворках, отнюдь не означало, что буржуазия не имела своей литературы и даже высоко художественной, в которой нередко встречались произведения огромной значимости. В XVI веке, в эпоху воцарения торгового капитала и крушения феодализма, буржуазия уже обладала высоко - художественной литературой и даже занимала во всей литературной жизни эпохи почти господствующее положение. Уже в XVI веке Франсуа Раблэ, автор бессмертного произведения мировой литературы „Гаргантюа и Пантагрюэль“, был представителем именно буржуазных течений в литературе. Оттесненная в XVII и XVIII веках на задний план расцветом аристократическо-дворянской литературы, буржуазная литература продолжала однако свое развитие. Так, на ряду с ложноклассической трагедией и пастушеским романом мы имеем в XVII веке творчество таких ярко выраженных буржуазных писателей, как Скаррон („Комический роман“), Сорель („Франсон“) и др.; в XVIII веке буржуазные тенденции в литературе все более и более разрастаются и приходят к настоящему триумфу с творчеством Руссо и окончательно завоевывают литературу вместе с буржуазной перестройкой общества. Вот почему романтизм не есть какое-то случайное и абсолютно новое явление для французской литературы. Наоборот, он явился в некоторых отношениях возвратом к традициям литературы XVI века и более ранних эпох, когда буржуазные тенденции еще не изгонялись из литературы за силением аристократическо-дворянской литературы эпохи абсолютизма.

Романтики отталкивались от классицизма, как социально чуждого аристократического течения. Романтизм был искусством буржуазным. Он стремился показывать нового человека во всем богатстве его страстей, чувствований, переживаний. Аристократическому искусству было свойственно давать отвлеченные, застывшие схемы, в которых запечатлевались омертвевшие представления феодального класса. Феодальная культура была отцветающей, исчерпавшей свои силы культурой—в феодальном искусстве торжествовала слепая верность прошлому; оно было сухим и бездушным. Романтизм опрокидывает это старое искусство, чтобы на новой основе построить искусство жизненное, волнующее, кипящее многообразием красок. Романтики тяготели к преувеличениям, к грубым и резким крикам, они не любили полутонов и мягких оттенков. Можно сказать, что романтическое искусство содержало в себе что-то стихийное, полуварварское. Буржуазный класс утверждал себя в искусстве с грубой прямоотой; в этом сказывалась его самоуверенность.

Виктор Гюго был крайне разносторонним художником. С одинаковым успехом он выявлял себя в области поэзии, драмы и прозы. Блестящий поэт, он—не менее блестящий драматург и романист. Достаточно для примера назвать его сборники стихов и поэм: „Осенние листья“, „Легенды веков“, „Созерцания“, „Возмездия“ и другие, его драмы: „Рюи Блаз“, „Эрнани“, „Кромвель“, „Король веселится“, „Марион Делор“, его романы, „Отверженные“, „Собор Парижской Богоматери“, „Человек, который смеется“, „Труженики моря“.

Действие романов и драм Гюго относится обычно к историческим эпохам, богатым народными волнениями, заговорами и смутами. Таков XVII век в Англии („Человек, который смеется“, „Кромвель“), XVII век во Франции („Марион Делор“), эпоха Возрождения („Лукреция Борджиа“, „Король веселится“, „Собор Парижской Богоматери“), эпоха Великой французской революции („93-й год“, „Бюг Жаргаль“) и т. д. Он любил рисовать необычайные по своей яркости фигуры героев и злодеев, любил грозные события и потрясающие драмы. Так, в драме „Король веселится“ отец по ошибке убивает свою единственную дочь; так, в „Соборе Парижской Богоматери“ мать узнает свою давно пропавшую дочь в ту минуту, когда толкает ее на гибель; так, в „Тружениках моря“ герой медленно погружается в воду, видя, как навсегда удаляется его возлюбленная со счастливым соперником.

Элементы фантастики в творчестве Гюго переплетаются с социальными мотивами. Они выступают в его творчестве с самых ранних произведений и по мере его развития звучат в них все отчетливее и ярче, достигнув

завершения в „Отверженных“, этой грандиозной социальной эпопее, явившейся вершиной всего художественного творчества Гюго.

В этом сказалась связь творчества Гюго с наиболее передовыми и революционно настроенными элементами общества, каковыми в то время являлась мелкая и отчасти средняя буржуазия. Отсюда насыщенность творчества Гюго идеями гуманности и социального равноправия, к которым стремилась мелкая буржуазия. Эти идеи мы встречаем у Гюго не только в тех произведениях, которые по самой теме своей посвящены их защите и разработке, как в романе „Последний день приговоренного“, этой горячей проповеди против смертной казни, или „Отверженных“, где он рисует картины жуткого разложения мелких ремесленников, обедневших крестьян, подонков больших городов. В основе романа „Отверженные“ лежит трагическая судьба Жана Вальжана, укравшего булку, чтобы накормить свою изголодавшуюся семью, пойманного на месте преступления и сосланного на каторгу за эту кражу. Глубокая симпатия к обездоленным социальной несправедливостью людям сквозит у Гюго решительно во всех его произведениях, даже если они написаны не в плане социальных, а авантюрно-исторических романов.

Сознание неустойчивости социального бытия все время поддерживало недовольство в рядах средних сословий, делая их очагом революционных брожений первой половины XIX века. Гюго являлся выразителем этих социальных слоев, все его творчество проникнуто симпатиями к ним, и все его положительные герои являются представителями и выходцами из этих слоев: Жилиат из „Тружеников моря“, Гуинплен и Урсус из „Человека, который смеется“, Жан Вальжан из „Отверженных“ и мн. др. Аристократов и крупных буржуа Гюго неизменно рисует в самых непривлекательных тонах. Таковы все лорды в „Человеке, который смеется“, зажиточные буржуа в „Отверженных“, дворяне и король в „Соборе Парижской Богоматери“, судохозяин в „Тружениках моря“ и целый ряд других образов. Эти социальные тенденции проявляются и в первом его романе, „Бюг Жаргаль“, который был написан им на школьной скамье, в возрасте 16 лет.

Разбирая это произведение, мы убеждаемся, что в нем уже заложены все идеологические и художественные элементы, из которых развилось последующее творчество Гюго. В этом первом, еще далеко не совершенном, но замечательном во многих эпизодах своем романе мы находим всего Гюго со всеми присущими ему особенностями.

Действие романа протекает в обстановке стихийного восстания африканских негров-невольников, вспыхнувшего непосредственно после революции восемьдесят девятого года.

Герои подразделяются на две резко противоположные друг другу группы—на группу героев положительных и на группу героев отрицательных. Как мы уже говорили, романтизм не любил полутонов—он всегда стремился к полным и ярким краскам. Все положительные герои решительно во всем являются настоящими образцами честности, чувства долга, храбрости и верности. Зато герои отрицательные отрицательны тоже во всем: они—настоящие чудовища коварства, вероломства, хитрости и жестокости. Всеми этими чертами наделены отрицательные герои романа—карлик Хабибра, его господин, владелец плантаций в Сан-Доминго, вождь негров Биассу и другие крупные рабовладельцы. Всеми положительными качествами в неменьшей степени наделены герои положительной группы—Мария, ее жених, от лица которого ведется рассказ (д'Овернэ), сержант Тадэ, но в особенности главный герой романа—негр и вождь негритянского восстания Бюг Жаргаль. Его благородство проявляется в романе с наибольшей полнотой—оно проявляется в дружбе к д'Овернэ, в любви к любящей его друга Марии, в беззаветной преданности делу своих обездоленных братьев, рабов-негров. Роман так и заканчивается картиной его гибели: он освобождает осужденных невинно негров и становится на их место, жертвуя своей жизнью для их спасения. Впрочем, все положительные герои буквально соперничают друг с другом в благородстве. Сержант Тадэ, рискуя своей жизнью, отправляется в стан врагов, чтобы выручить любимую собаку своего начальника, д'Овернэ неоднократно спасает жизнь Бюг Жаргалью и ни на минуту не поступает своей честью для спасения своей жизни. После того, как его освобождает Бюг Жаргаль из ужасного плена Биассу, он все же добровольно возвращается в этот плен, потому что дал слово Биассу, что вернется, хотя знал, что вернется на верную и мучительную смерть, Мария беззаветно любит своего жениха и, даже считая его погибшим, ни на минуту не остывает ни в своем чувстве, ни в своей верности. В обрисовке положительных героев этого романа уже сказались социальные симпатии Гюго. Интересно, что герои эти принадлежат к угнетенным слоям. Бюг Жаргаль—невольник, Тадэ—простой солдат, д'Овернэ, правда—дворянин, но дворянство его выражается только в наличии титула. Жизнь его по существу ничем не отличается от жизни того же самого Тадэ. Кроме того, он и сам очень резко отмежевывается от дворян-рабовладельцев, восстает против своего дяди и осуждает всю систему рабовладельческого хозяйства, хотя сам по своему происхождению принадлежит к классу угнетателей. В сущности, д'Овернэ как образ очень мало отличается от самого Бюг Жаргалья. Он обладает всеми теми же качествами, но в менее ярко выраженной форме. Бюг Жаргаль более глубок и ярк, хотя бы потому, что он

трагичнее. Он страдает за свое поруганное человеческое достоинство, но, как Гюго особенно старается подчеркнуть, страдает еще более как отвергнутый любовник, страдает от неразделенности своей любви к Марии. В нем больше всего Гюго достигает той огромной напряженности в борьбе страстей своих героев, той безмерности и грандиозности, к которым так стремились в своем творчестве все романтики.

То, что мы утверждали относительно д'Овернэ, целиком приложимо и к положительной героине, дворянке Марии. Ее дворянство тоже чисто внешнего порядка. Она ни в чем не проявляет себя как дочь помещика и рабовладельца. Она тоже стоит на стороне рабов против их угнетателей. Наконец она тоже по существу решительно ничем не отличается от других положительных героинь Гюго, маленьких буржуазок и мещанок, как Козетта из „Отверженных“, Деа из „Человека, который смеется“ или Фантина, тоже из „Отверженных“. Это—все тот же, часто встречающийся в творчестве Гюго образ беззаветно преданной и безукоризненной женщины, женщины-идеала, не знающей никаких сомнений в своей любви и никаких ограничений в своем самопожертвовании.

Если мы о положительных героях Гюго утверждали, что они целиком принадлежат к угнетаемым слоям общества, то про его отрицательных героев можно сказать как-раз обратное. Так, наиболее отрицательные образы романа — помещики, рабовладельцы, отец Марии, плантатор-„филантроп“ и др. Это утверждение несколько не ослабляется тем, что наиболее отрицательный образ романа — карлик Хабибра — невольник. С самых первых слов, характеризуя Хабибру, Гюго подчеркивает, что он был фаворитом барина, не нес никакой работы и очень враждебно относился к своим братьям по неволе—к работникам-неграм. Хабибра прежде всего—шут, существо не столько социально, сколько физически озлобленное. Он отличается необычайным физическим уродством, которое не могло не озлобить его, даже если бы он и не был рабом. В нем Гюго создал первый слепок того образа чудовишно яркого физического уродства, который стал в последующем его творчестве одним из наиболее типических его образов. От Хабибры путь идет к Квазимодо, знаменитому уроду-звонарю Собора Парижской Богоматери.

Гюго не психологичен. Ему лучше всего удаются картины внешней жизни. Так, описания пожаров, битв, лагерей восставших негров, наконец исступленный танец старух-негрятенок, бесспорно, принадлежат к наиболее удачным эпизодам всего романа. Значительно слабее Гюго там, где он пытается изобразить внутреннюю жизнь героев.

„Бюг Жаргаль“, как мы уже говорили—первый роман Гюго. В нем содержится не только вся шероховатость, неуклюжесть первого произведе-

ния, но и вся яркая жизнерадостность молодого искусства. Особенно понятным и близким оно будет для молодого поколения. Мы показывали, в каких обстоятельствах выросло это произведение и чем было все романтическое искусство, частью которого „Бюг Жаргаль“ является. Это позволит читателю понять юношеский роман Гюго в его историческом значении, увидеть в нем определенное классовое выражение, оценить его верно. Как уже говорилось, всего меньше этот роман можно принимать за точное воспроизведение истории.

Ф. Риза-Заде

ОГЛАВЛЕНИЕ

I	7
II	11
III	13
IV	17
V	19
VI	22
VII	25
VIII	28
IX	30
X	31
XI	34
XII	36
XIII	38
XIV	40
XV	43
XVI	45
XVII	46
XVIII	47
XIX	49
XX	52
XXI	54
XXII	55
XXIII	56
XXIV	60
XXV	61
XXVI	68
XXVII	71
XXVIII	72
XXIX	79
XXX	83
XXXI	84

Пров. 1969

47249

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
ЦДР ГИЗ

1 р. 15 к.
переплет 35 к.

